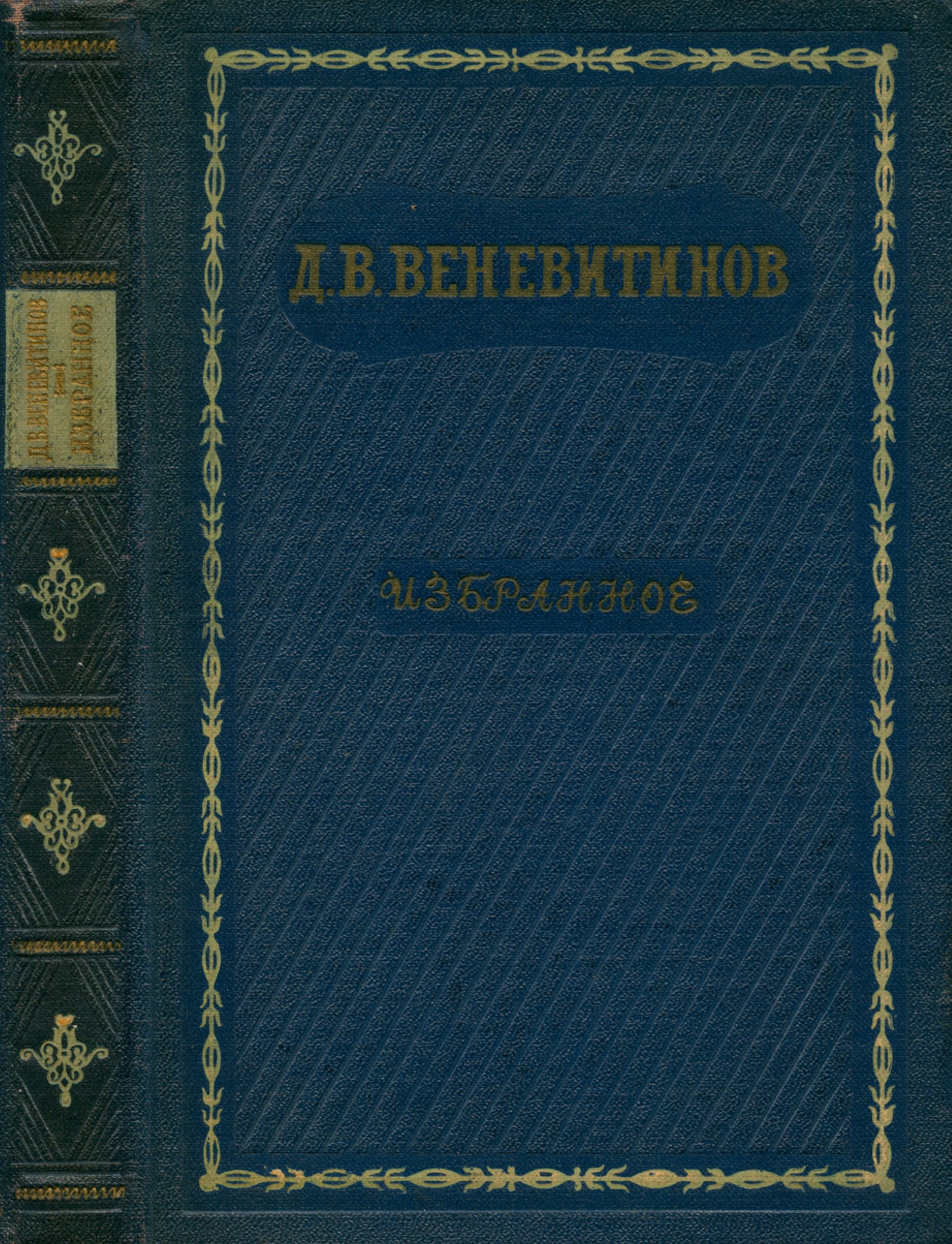


Д.В. ВЕНЕВИТИНОВ
ИЗБРАННОЕ
Д.В. ВЕНЕВИТИНОВ
ИЗБРАННОЕ



Д. В. ВЕНЕВИТИНОВ

Портрет работы художника
Ансельма Лагрене.
Масло. 1826.

Д. В. ВЕНЕВИТИНОВ



ИЗБРАННОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

Подготовка текста,
вступительная статья
и примечания
Б. В. СМИРЕНСКОГО

ДМИТРИЙ ВЕНЕВИТИНОВ

«...Из всех поэтов, явившихся в первое время Пушкина, — писал В. Г. Белинский, — исключая гениального Грибоедова... несравненно выше всех других и достойнее внимания и памяти Полежаев и Веневитинов» [1]. Примечательно, что, называя эти имена рядом, Белинский как бы объединил лучших поэтов эпохи, которые пали жертвами самодержавного режима.

«Ужасная, черная судьба, — сказал А. И. Герцен, — выпадает у нас на долю всякого, кто осмелится поднять голову выше уровня, начертанного императорским скипетром; поэта, гражданина, мыслителя неумолимый рок толкает в могилу... Даже те, которых правительство пощадило, погибают, едва распустившись, спеша оставить жизнь... Веневитинов убит обществом двадцати двух лет» [2].

Несмотря на такую короткую жизнь, Веневитинов оставил заметный след в истории русской литературы и в памяти поколений. «Лирический поэт с редкими дарованиями», по выражению Белинского, Веневитинов сочетал в своем лице и поэта, и гражданина, и мыслителя, представляя собою действительно выдающееся явление. Он удивлял своих современников исключительной талантливостью и как критик, переводчик, философ, художник, музыкант. Журнал «Московский телеграф» в некрологе о нем писал: «Веневитинову все дала природа; жизнь обещала ему радости, счастье — и могила была уделом его, уносившего во гроб надежды отечества».

---

[1] В. Г. Белинский. Собр. соч. в трех томах, М. 1948, т. 2, стр. 279.

[2] А. И. Герцен. Полн. собр. соч. и писем, П. 1917, т. VI, стр. 359.

I

Дмитрий Веневитинов родился в Москве 14(26) сентября 1805 года. Сын секунд-майора, гвардии прапорщик Владимир Петрович Веневитинов был женат на княжне Анне Николаевне Оболенской, от которой имел пятерых детей — Дмитрия, Алексея, Софью, Варвару и Петра. Мать Анны Николаевны, Матрена Семеновна Мусина-Пушкина, происходила по прямой линии из семьи Приклонских, от которых вел свой род Пушкин. Таким образом, Дмитрий Веневитинов приходился родственником А. С. Пушкину.

Родители дали Дмитрию Веневитинову прекрасное домашнее образование. Латинский и греческий языки помогли ему ознакомиться с древними классиками, которых уже в четырнадцать лет он прочел в подлинниках. Софокл, Эсхил, Платон, Гомер, Вергилий, Гораций становятся его любимыми авторами. Он подражает им в стихах и пробует переводить отрывки из их сочинений («Прометей», «Георгики»). На французском языке, который Веневитинов знает в совершенстве, он пишет стихи, водевили и статьи. Он прекрасно владеет и немецким. Известны его блестящие переводы из Гёте, Гофмана, Герена и других. Наконец, в рецензии на перевод «Абидосской невесты» Байрона он обнаруживает знание и английского языка.

К плодотворному изучению языков, литературы и философии надо прибавить серьезные занятия живописью и музыкой под руководством художника Лаперша и композитора Геништы. Современник Веневитинова журналист П. Плетнев так характеризует разносторонность его дарований:

«Веневитинов одарен был талантами самыми увлекательными. Живопись и музыка, поэзия и философия обрабатываемы им были не по влечению суетности, но по врожденной склонности, которую оправдал он замечательными опытами. Верный и независимый вкус, благородный и открытый образ мыслей, светлый и живой ум, детское простосердечие и знание потребностей лучшего общества, дружелюбие и мечтательность так пленительно сливались и обнаруживались в нем, что, узнав его, нельзя было не любить. В его сердце, так же как и в уме, соединялось все лучшее»[1].

К 1821 году, когда Веневитинову было 16 лет, относится написание им первого, напечатанного позднее, стихотворения

[1] Энциклопедический лексикон, СПБ. 1837, т. IX, стр. 367.

«К друзьям». Именно этим стихотворением начинается собрание его сочинений, изданное в 1829 году. Уже здесь молодой поэт заявлял, что его не прельщают ни слава, ни богатство, что он «весел участью своей с лирой, с верными друзьями».

В течение двух лет, с 1822 по 1824 год, Веневитинов проходит вольнослушателем курс Московского университета, где и завершает свое образование. Он посещает лекции Мерзлякова, Павлова, Давыдова, Каченовского, Лодера. А. Ф. Мерзляков был профессором красноречия, стихотворства и языка, автором только что вышедшего «Краткого начертания теории изящной словесности». И. И. Давыдов — профессор нравоучения, логики и философии, напечатавший в «Вестнике Европы» свой труд «Афоризмы из нравственного любомудрия». Лекции профессора М. Т. Каченовского знакомят Веневитинова с трудами по русской истории Н. М. Карамзина, а М. Г. Павлова — с натурфилософией Шеллинга. Занятия в анатомическом кабинете Х. И. Лодера подсказали Веневитинову некоторые характерные детали сюжета задуманного романа «Владимир Паренский».

В 1823 году Веневитинов вступил в основанное В. Ф. Одоевским «Общество любомудрия», занимавшееся изучением немецкой философии, главным образом Шеллинга, и не преследовавшее политических целей. Однако и общество любомудров отражало своеобразный протест против произвола полицейского режима. Оно было тайным, поскольку еще в 1822 году специальным указом были закрыты масонские ложи и запрещены всякие общества, в том числе и философские. По мнению полиции, основу «богопротивного учения Шеллинга... составляют вольнодумство и разврат».

Веневитинову принадлежит в обществе «любомудрия» одна из главных ролей. Он обращает на себя внимание самостоятельностью суждений и своими речами приводит всех в восторг. Членами общества являлись воспитанники Московского университета И. Киреевский, Н. Рожалин, А. Кошелев. К ним примыкали участники созданного в это время С. Е. Раичем литературного кружка С. Шевырев, А. Хомяков и другие. В натурфилософии Шеллинга одни из них, как, например, Хомяков, на первый план выдвигали религиозные воззрения; другие, как вышеупомянутый профессор-шеллингианец М. Г. Павлов, разрабатывали новые проблемы физики и химии; Кюхельбекера, расходившегося с «любомудрами» в общеполитических взглядах, интересовали вопросы эстетики и искусства. Мистическая философия

Шеллинга привела многих из них на путь реакции. Один Веневитинов не изменил своим высоким гражданским чувствам. По выражению Герцена, он был полон «идей 1825 года».

В 1824 году Веневитинов оканчивает университет и поступает на службу в московский архив Коллегии иностранных дел. Молодые сотрудники архива, среди которых было много прежних друзей Веневитинова, составляют круг молодежи, занимавшейся чтением, разбором и описанием древних рукописей, а больше — беседами на литературные и философские темы. Занятия Веневитинова в архиве своеобразно преломились в одном из отрывков его перевода «Фауста» Гёте:

Иногда пороешься в пыли,
И, право, отрывать случалось
Такой столбец, что сам ты на земли,
А будто небо открывалось.

(Фауст и Вагнер.)

Этих молодых людей «архивными юношами» назвал Пушкин в седьмой главе «Евгения Онегина».

К тому же времени относится работа Веневитинова над поэмой «Евпраксия», сюжет которой взят из истории города Зарайска времен татарского нашествия. Хотя поэма не была закончена, в ней отчетливо проявились патриотические мысли автора о героическом прошлом родной страны, навеянные историческими «Думами» Рылеева. Для декабристов образы героев древнерусской истории служили средством политической агитации, и по выражению А. Бестужева — «гром отдаленных сражений одушевляет слог авторов».

В начале 1825 года друг Веневитинова Кошелев встретился с Рылеевым и другими декабристами, о чем он сейчас же рассказал поэту. Разговоры о необходимости свержения существующего строя произвели на него сильное впечатление. Немецкая философия была сразу отодвинута на второй план и уступила место философам французской революции.

В феврале того же года появилась первая глава «Евгения Онегина», о которой Н. Полевой поместил в «Московском телеграфе» рецензию. Веневитинов откликнулся на нее статьей, указав на ошибки Полевого. Статья была помещена в журнале «Сын отечества» (№ 8) и явилась первой его печатной работой. Полевой начал полемику, в которой, по выражению Веневитинова, «смешал летописи ума человеческого с памятниками

безумия, невежества и бессилия». И эту антикритику также подробно разобрал Веневитинов, напечатав свой ответ Полевому в том же журнале (№ 24).

В июне 1825 года Веневитинов пишет критический «Разбор рассуждения Мерзлякова о начале и духе древней трагедии», помещенный в № 12 «Сына отечества». Таким образом, недавний ученик восстал против своего учителя. Правда, он вежливо оговорился в начале статьи, что «чем отличнее заслуги г. Мерзлякова, тем опаснее его ошибки по обширности их влияния, и любовь к истине принуждает нарушить молчание, невольно предписываемое уважением к достойному литератору». Характерно, что цензура не пропустила в этой статье слова «любовь к отечеству, свободе и славе»; они были восстановлены только в посмертном собрании сочинений.

По примеру Рылеева и Бестужева, издававших «Полярную звезду», имевшую шумный успех, М. Погодин задумал альманах «Уранию». Для этого издания Веневитинов дал отрывок «Утро, полдень, вечер и ночь», прочитанный им перед тем в «Обществе любомудрия». Там же читал он другой лирико-философский отрывок «Скульптура, живопись и музыка», помещенный в альманахе «Северная лира на 1827 г.», и «Беседу Платона с Анаксагором», напечатанную позже в альманахе «Денница». Эти работы выражают философские взгляды автора, основанные на глубоком изучении древних и новых философов, а также философских произведений Гёте. В письмах Веневитинова 1825 года мы находим упоминания о Шеллинге, Франкере, Окене, Вагнере, Блише, Платоне и других, причем постепенно его симпатии от Шеллинга склоняются к Платону и его учению об «идеальной республике». «Читаю его довольно свободно и не могу надивиться ему, надуматься над ним», — писал он Кошелеву. В то же время философия Шеллинга, далекая от социальных проблем, вызывала у него все большее разочарование. Он говорил: «Воображал ли я, что Шеллинг, который был для меня источником наслаждений и восторга, будет меня впоследствии так сокрушать?»

Задумываясь над жизнью, над будущим, Веневитинов пишет: «Жить — не что иное, как творить будущее... Верь, она снова будет, эта эпоха счастья, о которой мечтают смертные».

«Эта тишина — предвестница бури!» — говорит он незадолго до восстания декабристов.

Восстание декабристов было разгромлено. Прекратило свое

существование и «Общество любомудрия», устав и протоколы которого были уничтожены самими членами этого общества.

«Мы, молодежь, — пишет Кошелев в своих «Записках», — менее страдали, чем волновались, и даже почти желали быть взятыми и тем стяжать и известность и мученический венец. Эти события нас чрезвычайно сблизили и, быть может, укрепили эту дружбу, которая связывала <братьев> Веневитиновых, Одоевского, Киреевского, Рожалина, Титова, Шевырева и меня». Как известно, Веневитинов волновался не напрасно — он действительно был позже арестован. Он был готов и к большему. В написанном в этом же году «Прологе» на смерть Байрона он прямо говорил:

Да! Смерть мила, когда цвет жизни
Приносишь в дань своей отчизне.

А. В. Луначарский считал, что «крах декабристского движения помешал развитию в лирике гражданских мотивов». У Веневитинова, сочувствовавшего декабристам, но не поднимавшегося в поэзии до открытого протеста, гражданские чувства выражаются в сознании патриотического долга и высокого назначения поэта. Ему не суждено было сыграть такой роли, какая характерна для передовых писателей 30—40-х годов. Все же показателем «обличительной силы» его произведений могут служить цензурные запрещения и искажения, которым они подвергались. Достаточно назвать запрещавшиеся к печати, искажавшиеся цензурой «Новгород», «Кинжал», «Завещание», «К моей богине», «Сцены из Эгмонта» и статьи.

Начиная с июля 1826 года, то есть со времени казни декабристов, и вплоть до отъезда Веневитинова в Петербург в октябре, можно проследить его жизнь по подробным записям в дневнике М. Погодина. Здесь и разговоры об осужденных, и споры о литературе, и сердечные увлечения. Если одно из увлечений вылилось в письма о философии (к А. И. Трубецкой), то другим была любовь к княгине Зинаиде Волконской. Родственница декабриста, она, несмотря на свое высокое положение и близость ко двору (муж ее был егермейстером и флигель-адъютантом), по жандармской характеристике была «готовой разорвать на части правительство», а ее салон являлся «средоточием всех недовольных». Именно у нее провожали уезжавшую вслед за мужем в Сибирь Марию Волконскую Пушкин, Одоевский и другие. Она приютила у себя француза

Воше, провожавшего в Нерчинск княгиню Трубецкую. У нее бывал Адам Мицкевич, находившийся в России в изгнании. Благодаря своим разнообразным талантам к литературе, театру, музыке она создала блестящий салон в своем дворце в Москве, «волшебный замок музыкального мира», и заслужила преклонение знаменитых поэтов. «Царицей муз и красоты» назвал ее Пушкин. Юный Веневитинов также был покорен ею. Молодой поэт посвящает ей стихотворения большой лирической силы. Волконская, по его словам, «отравила» его «ядом мечты и страсти безотрадной», оставаясь далекой для него, как «звездочка в эфире».

В сентябре 1826 года вернулся из ссылки Пушкин. Он не забыл прочитанные им статьи Веневитинова об «Евгении Онегине» и выразил желание познакомиться с их автором, который был приглашен на первое же чтение «Бориса Годунова» в узком кругу. В следующий раз Пушкин читал «Годунова» 10 октября уже в доме Веневитинова. Наконец, 12 октября Пушкин снова прочел «Годунова» в доме Веневитинова в присутствии Мицкевича, Баратынского, Хомякова, Шевырева, Погодина, Виельгорского и других.

Веневитинов обратился к великому поэту с посланием, в котором призывал «доплатить Каменам долг вдохновенья» и «прибавить хваления» в честь «наставника нашего» Гёте (незадолго до этого Пушкин написал свою «Сцену из Фауста»). Тогда же Пушкин предложил начать совместное издание журнала. Веневитинов разрабатывает программу журнала, который было решено издавать под названием «Московский вестник», с участием в нем Пушкина. Идея прогрессивного журнала была близка Веневитинову. В статье «О состоянии просвещения в России», печатавшейся ранее под заглавием «Несколько мыслей в план журнала», он ставит вопрос об отсутствии в литературе «всякой свободы и истинной деятельности», о «подражательности иностранному и раболепстве, создающих совершенно отрицательное положение в литературном мире». «Как пробудить Россию от пагубного сна? Как возжечь среди пустыни светильник разыскания?» — спрашивает Веневитинов, как бы отделяя себя от «беспечной толпы» литераторов, и «не подозревавших необходимости» в таких вопросах. Это прямые свидетельства благородных стремлений автора быть полезным народу, содействовать просвещению своего отечества.

Веневитинов хочет видеть в поэзии глубокое идейное содержание. «У нас чувство освобождает от обязанности мыслить, тогда как истинные поэты всех веков и народов были глубокими мыслителями, философами». В своей статье Веневитинов предложил проект журнала в двух частях: «одна должна представлять теоретические исследования самого ума и свойств его; другую можно будет посвятить применению сих же исследований к истории наук и искусств... Итак, философия и применение оной ко всем эпохам наук и искусств — вот предметы, заслуживающие особенное наше внимание, предметы, необходимые для России». Хотя проект и не был полностью проведен в жизнь, журнал начинает выходить под редакцией М. Погодина с 1827 года, и Веневитинов становится главным его вдохновителем.

Между тем в Петербурге в Коллегии иностранных дел открылась вакансия, которую родные нашли подходящей для Веневитинова. Об этом же ходатайствовал перед Нессельроде и родственник поэта А. Ф. Малиновский. Переводом туда само собой «полагался предел» несчастной любви поэта. «В горький час прощанья» Волконская подарила ему перстень, найденный при раскопках Геркуланума и Помпеи в 1706 году. Поэт прикрепил его к часам, в виде брелока, решив надеть на палец только при женитьбе или перед смертью. 23 октября 1826 года состоялся «Указ о перемещении» к делам Коллегии, а 30 октября, получив «Проезжий указ» и рекомендательное письмо В. Л. Пушкина, Веневитинов собрался в путь. Спутниками его в дороге были Федор Хомяков и француз Воше, только что вернувшийся из Сибири.

При въезде в Петербург Веневитинов и Воше неожиданно были арестованы по подозрению в причастности к делу декабристов. На допросе Веневитинов смело и откровенно заявил, что «если он и не принадлежал к обществу декабристов, то мог бы легко принадлежать к нему». Поскольку, однако, в III Отделении и Следственной комиссии по делу декабристов никаких данных о Веневитинове не оказалось, после нескольких дней заключения его освободили. В словах, обращенных к жандармскому генералу, отразилось сожаление Веневитинова, что ему не пришлось «отомстить мечом за гибель отчизны». Родственница декабриста Н. М. Муравьева П. Н. Лаврентьева в неизданных записках вспоминала: «Сколько раз говорил мне молодой Веневитинов, что он тоже должен был быть с вами в Сибири, а не

жить в Петербурге... Помню его грустные глаза... помню слезы, когда вспоминали о Рылееве».

Поселившись в Петербурге, Веневитинов много работал, писал статьи, переводил, обдумывал роман и именно в эти последние месяцы создал свои лучшие поэтические произведения.

Большое участие принимает он в руководстве журналом «Московский вестник»: в письмах в Москву дает указания редактору переводить из иностранных журналов повести Вашингтона, Тика, «ученые статьи», помещать критические разборы, заставляет брата Алексея переводить Гофмана, Шлегеля, просит о том же сестру, приглашает сотрудников. «Главное, — пишет он, — отнять у Булгариных их влияние». Он дает для журнала много и своих вещей — сцены из «Фауста», перевод из Гофмана, статьи, ряд стихотворений.

Веневитинов «дружится с дипломатическими занятиями», бывает и на вечерах, но тоска мучает его, он чувствует себя одиноким «среди холодного, пустого и бездушного общества». «Пламя вдохновения погасло», — пишет он Погодину. Он не находит больше «сил для жизни и вдохновения» (письмо от 7 марта 1827 г.).

Веневитинов умер на двадцать втором году жизни — 15 марта 1827 года. По словам Герцена, «нужен был другой закал, чтобы вынести воздух этой мрачной эпохи... надо было приспособиться к неразрешимым сомнениям, к горчайшим истинам... к постоянным оскорблениям каждого дня... надо было дать вызреть в немом гневе всему, что ложилось на сердце. Надо было уметь ненавидеть из любви, презирать из-за гуманности; надо было обладать беспредельною гордостью, чтобы высоко держать голову, имея цепи на руках и ногах». А «Веневитинов не родился способным к жизни в новой русской атмосфере» [1].

В стихотворении «К моему перстню» Веневитинов сказал:

Когда же я в час смерти буду
Прощаться с тем, что здесь люблю,
Тебя в прощаньи не забуду:
Тогда я друга умолю,
Чтоб он с руки моей холодной
Тебя, мой перстень, не снимал,
Чтоб нас и гроб не разлучал.

---

[1] А. И. Герцен. Полн. собр. соч. и писем, П. 1917, т. VI стр. 372, 373.

Выполняя завещание друга, Хомяков надел ему перед смертью кольцо на палец. «Разве я женюсь?» — спросил поэт. «Нет», — отвечал Хомяков. Через несколько часов поэт скончался.

Преждевременная смерть многообещавшего юноши произвела необычайное впечатление на всех друзей и знавших его. «Кого мы лишились? — писал Погодин. — Чего лишились в нем наука и отечество?» «Как вы допустили его умереть?» — говорил Пушкин Анне Керн.

Зинаида Волконская написала стихотворение на смерть поэта «Сложил художник свой резец». В саду своей римской виллы она поставила урну в память друга. Многие поэты написали стихи на смерть Веневитинова — А. Дельвиг, А. Одоевский, И. Дмитриев, А. Хомяков, Н. Языков, А. Кольцов, П. Ободовский, М. Лихонин, М. Деларю, Трилунный, Д. Ознобишин и другие. Приведем здесь только одну эпитафию Лермонтова:

Простосердечный сын свободы,
Для чувств он жизни не щадил,
И верные черты природы
Он часто списывать любил.
Он верил «темным предсказаньям»,
И талисманам, и любви —
И неестественным желаньям
Он отдал в жертву дни свои.
И в нем душа запас хранила
Блаженства, муки и страстей.
Он умер. Здесь его могила.
Он не был создан для людей.

«Веневитинов есть единственный у нас поэт, который даже современниками был понят и оценен по достоинству, — писал Белинский. — Это была прекрасная утренняя заря, предрекавшая прекрасный день» [1].

Декабрист Александр Одоевский в стихотворении на смерть Веневитинова говорил, что «рано выпала из рук едва настроенная лира и не успел он в ясный звук излить красу и стройность мира».

Передовые представители литературы 40-х годов в лице поэта-петрашевца А. П. Баласогло, отозвавшись на безвременную

---

[1] В. Г. Белинский. Собр. соч. в трех томах, М. 1948, т. 1, стр. 64.

кончину Пушкина, не могли не вспомнить и «вольнодумца» Веневитинова, «философа жизни в двадцать лет».

День годовщины смерти поэта, 15 марта 1828 года, Пушкин провел в его семье («Дневник» М. П. Погодина за это число).

Друзья создали своеобразный культ памяти «незабвенного друга», ежегодно в течение сорока лет собираясь в день его кончины. Последнее из таких собраний состоялось 15 марта 1867 года, на котором были прочитаны следующие строки:

Кружок друзей его стал тесен:
Одни вдали, других уж нет.
Но вечен мир высоких песен,
И с ними вечно жив поэт.

Повесть краткой жизни поэта будет не полной, если не привести окончания истории с перстнем Волконской. В заключительных строках стихотворения «К моему перстню» Веневитинов писал:

Века промчатся, и быть может,
Что кто-нибудь мой прах встревожит
И в нем тебя отроет вновь...

Эти слова подтвердились через сто с лишним лет, в 1930 году, когда могила Веневитинова была перенесена на Новодевичье кладбище. При эксгумации праха перстень был снят с пальца поэта и в настоящее время находится в Государственном Литературном музее.

II

Творческая жизнь Дмитрия Веневитинова протекала в период начавшейся освободительной борьбы после победоносной отечественной войны 1812 года и восстания декабристов.

В этот период наряду с Пушкиным выступают поэты-декабристы, а также Грибоедов, Полежаев, Баратынский, Дельвиг и многие другие. В сравнении с современными ему поэтами-романтиками 20-х годов XIX века, так и не поднявшимися до уровня передовых идей своего времени и не знавшими, по выражению Добролюбова, «ни философии, ни истории, ни любви, ни политики», Веневитинов резко выделяется как философской направленностью, так и общественной значимостью своего творчества.

Об оригинальности поэзии Веневитинова и его значении в развитии литературы великие революционные демократы Белинский и Чернышевский отзывались очень высоко. Так, Белинский писал о нем: «Веневитинов сам собою составил бы школу, если б судьба не пресекла безвременно его прекрасной жизни, обещавшей такое богатое развитие. В его стихах просвечивается действительно идеальное, а не мечтательно идеальное направление; в них видно содержание, которое заключало в себе самодеятельную силу развития»[1]. Еще более уверенно выразился Чернышевский: «Проживи Веневитинов хотя десятью годами более — он на целые десятки лет двинул бы вперед нашу литературу»[2]. Однако нам приходится довольствоваться тем небольшим наследством, которое он оставил.

Все творчество Веневитинова — отражение борьбы за независимую, деятельную литературу, насыщенную высоким идейным содержанием, свободную от раболепия и подражательности. Этим прогрессивным идеям должна была сопутствовать соответствующая литературная форма. В начале своей деятельности Веневитинов использовал традиционные элегические формы поэзии, идущие от Батюшкова и достигшие совершенства у Пушкина. Поэтика Веневитинова ограничена в большинстве привычными образцами небольших стихотворений, написанных четырехстопным ямбом, без деления на строфы, без сплошных мужских и женских рифм, то в форме посланий, то элегий.

Задачи создания новых форм философской лирики, которые пытались решить А. Хомяков, С. Шевырев и другие, удалось выполнить позднее Баратынскому, Тютчеву, Лермонтову.

Ранние стихи Веневитинова еще содержат в себе элементы архаического, возвышенного стиля. Сюда относятся приподнятые поэтические образы, характерные для поэзии этого рода: «звук трубы священной», «сладкозвучного пенья венец», «перун быстротечный», «хладный мрак могил», «утлая ладья», «бессмертных витязей ровесник» и так далее. Поэтический язык молодого поэта перегружен славянизмами: «возжен», «прешагнет», «отжени», «вежды», «ланиты», «огнь» и тому подобное. Многочисленны у него и примеры использования привычных поэтических

---

[1] В. Г. Белинский. Собр. соч. в трех томах, М. 1948, т. 2, стр. 165.

[2] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., М. 1949, т. II, стр. 926.

оборотов, характерных для литературы начала века, вроде «восторги сладострастья», «гробовая дверь», «легкокрылое веселье».

Но и торжественность словаря и архаичность эпитетов, а также использование канонических форм дружеских посланий не являются для Веневитинова, подобно большинству современных поэтов, самоцелью.

В поэзии Веневитинова можно отыскать немало примеров непосредственного влияния на него творчества Пушкина, Гёте. В свою очередь поэзия Веневитинова не прошла бесследно для Пушкина, Лермонтова, Тютчева, оказав непосредственное влияние на такие стихотворения, как «Три ключа», «Талисман», «Молитва», «Новгород», «Наполеон». Интересно отметить, что Некрасов в стихотворной повести «Суд» целиком использовал строку Веневитинова «С печатью тайны на челе» («Последние стихи»).

Некоторые стихотворения Веневитинова представляют собой лирические шедевры, давно вошедшие в золотой фонд русской классической поэзии. «Посмотрите, — говорил Белинский, — какая у него точность и простота в выражении, как у него всякое слово на своем месте, каждая рифма свободна и каждый стих рождает другой без принуждения»[1].

Содержание поэзии Веневитинова значительно и разнообразно: его воспламеняет любовь к отечеству; природа служит ему источником вдохновения; дружба дает силы для борьбы; он гордится высоким назначением поэта, много размышляет о жизни и бессмертии. Буржуазные литературоведы пытались представить Веневитинова романтическим поэтом, далеким от действительности. Нет, в поэзии Веневитинова уже слышны те реалистические ноты, которые с такой силой звучат в стихах Пушкина и Лермонтова. Шеллингианским идеалам «чистого искусства» поэт-философ противопоставляет реальную жизнь.

В одном из писем к А. И. Кошелеву Веневитинов сказал о Денисе Давыдове: «Вот воин-поэт! Какое сильное чувство любви к отечеству, и как видно, что это чувство в нем не предрассудок!» Эти слова можно отнести и к самому Веневитинову, хотя он и не был воином. Любовь к отечеству у Веневитинова носит

---

[1] В. Г. Белинский. Собр. соч. в трех томах, М. 1948, т. 1, стр. 163.

характер высокого патриотического долга, готовности пойти на жертву для блага родины («Я умереть всегда готов»). В «Сонете», относящемся к 1825 году, он говорит:

Мне мир фантазии был ясный край отчизны.

Стихи патриотического цикла — неоконченная поэма «Евпраксия», «Новгород», «Смерть Байрона», «Песнь грека», «Освобождение скальда» и другие — идут от поэзии декабристов, главным образом Рылеева («Думы», «Войнаровский»), и близки им своим благородным пафосом. Так, в «Песне грека», являющейся отголоском национально-освободительной борьбы греческого народа против турецкого ига, поэт от своего лица говорит: «Пел свободу я».

Идея защиты отечества вложена Веневитиновым в песни скандинавского скальда (певца) Эгила:

Где храбрый юноша, который
Врагов отчизны отражал
И край отцов, родные горы
Могучей мышцей защищал?

(«Освобождение скальда».)

Тот же мотив проходит в стихах из неоконченного пролога, где хор поет:

Стекайтесь, племена Эллады,
Сыны свободы и побед!
Пусть вместо лавров и награды
Над гробом грянет наш обет:
Сражаться с пламенной душою
За счастье Греции, за месть...

Особенно ярко патриотическая тема выражена поэтом при обращении к национальной истории. В поэме «Евпраксия» он показывает героизм наших предков, их свободолюбие и любовь к родине. Поэма относится к 1824 году — периоду создания Рылеевым исторических «Дум». Известное ранее только по двум небольшим отрывкам, это произведение сейчас предстает перед читателем во всей широте своего замысла.

Сюжет поэмы навеян преданиями о гибели рязанских князей во время татарского нашествия 1237 года.

В дошедших до нас рукописях содержатся: вступление, с описанием места действия поэмы на берегу реки Осетр; явление

кометы; пир в тереме князя Федора; отправление рязанских воинов на битву с Батыем и, наконец, бой с участием князя Олега и боярина Евпатия Коловрата.

Характеристики рязанских князей — вождей славянских дружин, а также хана Батыя и его сына Нагая, картины кровавых боев — выполнены поэтом с большой силой.

О юном князе Олеге поэт говорит с высоким пафосом

Но он с булатом в юной длани
Летит отчизну защищать,
И в первый раз на поле брани
Любовь к свободе показать.

Защита отечества, отождествляемая с понятием вольности, отражена и в другом патриотическом стихотворении — «Новгород». Как известно, древняя новгородская вольница неоднократно служила предметом поэтического воспевания у декабристов К. Рылеева, А. Бестужева, А. Одоевского, В. Раевского, у Пушкина (новгородская повесть «Вадим»), у Н. Языкова, А. Хомякова, Лермонтова. Стихотворение Веневитинова прославляет Новгород, как «отчизну славы и торговли», величавый город, голос которого — «бич врагов, звуча здесь медью в бурном вече, к суду или к кровавой сече, как глас отца, сзывал сынов», меч которого — «гроза соседа» — карал и немецких псов-рыцарей и шведов. Подобные стихи, по духу «шишковского» цензурного устава 1826 года, не подлежали опубликованию, «как прямо или косвенно порицающие монархический образ правления». И они были категорически запрещены при подготовке первого собрания сочинений поэта.

Публикуемая в данном издании фотокопия рукописи (см. стр. 54—55) показывает, что текст стихотворения «Новгород» был более политически заострен, но во избежание цензурных преследований редактировался самим Веневитиновым. Так, вместо «свободы» он пишет «отчизна», вместо «бич князей» — «бич врагов». «Мое стихотворение о Новгороде написано для печати. Я пришлю его на днях в том виде, в каком оно должно появиться в свет», — писал он [1].

Однако цензурой были исключены из стихотворения еще четыре строки с упоминанием о «вольном» воздухе Новгорода.

[1] Д. В. Веневитинов. Собр. соч., М.—Л. 1934, стр. 336.

Только после отставки министра просвещения Шишкова стихотворение появилось в издании 1829 года. На этом, однако, не кончились преследования цензуры. через четверть века, при подготовке следующего издания, в 1853 году стихотворение вновь подверглось запрещению. И это понятно. Стихотворение «Новгород», с его тоской о давно прошедших временах вольности, воспевает как символ борьбы тот вечевой колокол, о котором пятью годами позже вспомнит в своих стихах Лермонтов.

В целом произведения этого цикла воссоздают образ вольнолюбивого поэта — горячего патриота, готового пожертвовать жизнью за свободу отчизны.

Любовь Веневитинова к природе — чувство, глубоко связанное с любовью к родине. На это обратил внимание А. Хомяков еще в 1820 году, когда в «Послании к Веневитиновым» писал: «Пой, Дмитрий! Твой венец — зеленый лавр с оливой. Любимец сельских муз и друг мечты игривой... Тебя зовет Парнас, тебя внушит природа». И действительно, в своем стихотворении «К друзьям» Веневитинов называет себя певцом лесов. Он любит «цвет лазури ясной, цвет радуги прозрачной» («Любимый цвет»). В письме к сестре он пишет: «Мне хотелось бы изобразить природу такой радостной и такой прекрасной, какой вы до сих пор еще не видели».

Об этом говорит Веневитинов и в предсмертном стихотворении «Поэт и друг»:

Природа не для всех очей
Покров свой тайный подымает:
Мы все равно читаем в ней,
Но кто, читая, понимает?
Лишь тот, кто с юношеских дней
Был пламенным жрецом искусства.

В статье «Литературные мечтания» (1834) Белинский отметил: «Один только Веневитинов мог согласить мысль с чувством, идею с формою, ибо изо всех молодых поэтов пушкинского периода он один обнимал природу не холодным умом, а пламенным сочувствием и силою любви, мог проникать в ее святилище, мог

В ее таинственную грудь,
Как в сердце друга, заглянуть,

и потом передавать в своих созданиях высокие тайны, подсмотренные им»[1].

> Ты дал природу мне, как царство во владенье;
> Ты дал душе моей
> Дар чувствовать ее и силу наслажденья, —

эти слова Фауста в переводе Веневитинова можно отнести к нему самому.

Чувство наслаждения природой сквозит и в письмах Веневитинова. «Природа тут попрежнему прекрасна, она одна оправдала мои ожидания». «С восхищением я вновь увидел Дон и не буду удивлен, если его волны будут для меня волнами Ипокрены»[2]. «Я останавливаюсь посредине моста, чтобы полюбоваться на эту чудную реку... которая протекает без всякого шума, как само счастье»[3]. Будучи «с юношеских дней пламенным жрецом искусства», Веневитинов как поэт глубоко чувствовал и понимал природу.

Теме дружбы посвящены многие стихи Веневитинова, но эта дружба трактуется как чувство далекое от «шумных страстей» и застольных пиров. В стихах, обращенных к друзьям, в стихотворных посланиях («К друзьям», «К друзьям на Новый год», «К Рожалину», «К Скарятину», «К И. Герке» и др.), поэт постоянно вспоминает «старых искренних друзей» и посылает им «привет и утешение». Разлученный с друзьями, он восклицает: «Отдайте мне друзей моих, отдайте пламень их объятий, их тихий, но горячий взор, язык безмолвных рукожатий и вдохновенный разговор» («Послание к Рожалину»).

В своем обращении «К Пушкину» поэт «после горькой разлуки» вновь вспоминает «старинной дружбы милый глас», навевающий ему думы о друзьях. Он признается в «Завещании», что «восторгов лучшие мгновенья мной были им посвящены». Мы знаем, как отвечали друзья на его чувство, как преданно любили поэта и как горько оплакивали его смерть. Но не только

---

[1] В. Г. Белинский. Собр. соч. в трех томах, М. 1948, т I, стр. 64.

[2] Чудесный источник, дававший поэтам вдохновение

[3] Д. В. Веневитинов. Собр. соч., М.—Л. 1934, стр. 284, 291.

в этом заключался смысл дружбы для Веневитинова Он ценил в ней то действие, которое оказывала она на его мировоззрение.

Нет, нет, и теплые дни дружбы
И дни горячие любви
К другому сердце приучили,
Другой огонь они в крови,
Другие чувства поселили.

(«К моей богине»)

К стихам о дружбе примыкают и послания к возлюбленной Он и любит ее, «как друг, как любят светлый идеал»

Тема дружбы проходит и в таких стихотворениях, как «Три участи», «Песнь Кольмы», «Поэт и друг» и ряд других

Чувство дружбы возвышается поэтом до всеобъемлющей любви к людям, которую он выражает в следующих стихах:

Тебе бы люди были братья,
Ты б тайно слезы проливал
И к ним горячие объятья,
Как друг вселенной, простирал.

(«К любителю музыки».)

В философской лирике Веневитинова, как уже говорилось, большое место занимают мысли о высоком назначении поэта, думы о жизни и бессмертии. Поэзию Веневитинов сближает с философией. Своим друзьям — А. С. Норову и А И Кошелеву — он писал: «Занимайтесь, друзья мои, один — философией, другой — поэзией, обе приведут вас к той же цели — к чистому наслаждению» (25 сентября 1825 г.).

Поэт чувствовал, как горит в нем «святое пламя вдохновенья» и посвятил свою любовь, свои надежды «навек поэзии святой». Своим даром поэта он гордился и находил счастье в муках творчества. В стихотворении «Утешение» он говорит:

Немногие небесный дар
В удел счастливый получают,
И редко, редко сердца жар
Уста послушно выражают.

Власть поэта он считал могучей, его влияние на поколение — огромным.

Он говорил: «Когда-нибудь
Созреет плод сей муки тайной
И слово сильное случайно
В нежданном пламени речей
Из груди вырвется твоей.

Уронишь ты его не даром,
Оно чужую грудь зажжет,
В нее как искра упадет,
И в ней пробудится пожаром».

(«Утешение».)

Это уже декабристский мотив, близкий по духу ответу Александра Одоевского на послание Пушкина в Сибирь («Из искры возгорится пламя») или стихам Рылеева о поэте:

Ему неведом низкий страх,
На смерть с презрением взирает
И доблесть в молодых сердцах
Стихом свободным зажигает.

Ему были близки мысли Гёте о бессмертии поэта:

Так человек с возвышенной душой
Приходит в поздние века и поколенья.
Ему нельзя свое предназначенье
В пределах жизни совершить:
Он доживает за могилой
И мертвый дышит полной силой.

(«Апофеоза художника».)

Таковы мысли Веневитинова о поэзии, заключенные в его стихотворениях. К ним нужно добавить его теоретические высказывания в статьях. И здесь те же образцы высокой гражданственности, которой он требует от поэзии. Так, критикуя рассуждения Мерзлякова, он спрашивает: «Как? поэзия... должна влачить оковы рабства от самой колыбели?» Поэзия должна быть свободной — такова мысль Веневитинова. Отвечая на вопрос, почему Гомер являлся обильным источником для греческих поэтов, Веневитинов поясняет, что он был «зеркалом минувшего... дышал свободным чувством красоты, в песнях своих открывал перед ними великолепный мир со всеми его отношениями к мысли человека». Эти слова Веневитинова свидетельствуют о понимании им искусства как отражения объективной действительности.

Лирик по преимуществу, Веневитинов насытил поэзию философским содержанием. По словам И. Киреевского, он «создан был действовать сильно на просвещение своего отечества, быть украшением его поэзии... Кто вдумается с любовью в сочинения Веневитинова, кто в этих разорванных отрывках найдет следы общего им происхождения, кто постигнет глубину его мыслей, связанных стройною жизнью души поэтической, тот узнает философа, проникнутого откровением своего века; тот узнает поэта глубокого, самобытного, которого каждое чувство освещено мыслью, каждая мысль согрета сердцем». Этот отзыв Киреевского высоко оценил Пушкин, упомянув в своей рецензии покойного Веневитинова, «так рано оплаканного друзьями всего прекрасного».

Достойны внимания и опыты Веневитинова в прозе. К известным ранее оригинальным произведениям добавляются вновь найденные страницы начатого романа. В этих отрывках незавершенных глав можно все же увидеть интересную попытку изображения типичного героя своего времени, каким является Владимир Паренский, обуреваемый страстями, но душевно надломленный молодой человек «Он живой был уже убит и ничем не мог наполнить пустоту души», — говорил о нем Веневитинов. Этот неосуществленный замысел характерен, как отклик писателя на задачи, поставленные временем. В неопубликованном отрывке «Что написано пером, того не вырубить топором» Веневитинов, обращаясь к русским молодым людям, «стоящим мыслями наравне с веком и просвещенным миром», спрашивает: полезны ли мы для нашего народа, для России, «приносим ли мы в жертву нашему отечеству тот плод, который оно вправе ожидать от нас, который, повидимому, обещает ему наша образованность, наши нравственные способности?» И отвечает: «Нет, решительно нет, и причиною тому наше воспитание... Отчего же? Мы любим Россию, имя отечества воспламеняет нас. Мы готовы для него жертвовать своим существованием и не устрашились бы для блага его пролить последнюю каплю крови... Мы положим тогда на алтарь отечества жертву, достойную его».

В этих словах — весь Веневитинов с его «мыслями наравне с веком» и «жертвой на алтарь отечества». Благородные мысли поэта, обращенные к представителям молодого поколения своего времени, не утратили своей силы и сейчас.

Кроме оригинальных произведений Веневитинов оставил переводы с древних и новых языков в стихах и прозе. К ним относятся переводы с латинского (Вергилий), с французского (Грессе, Мильвуа) и другие. Особенно много он переводил с немецкого. Здесь мы находим и стихи, и пьесы (Гёте), и повесть Гофмана, и философские труды Окена, Вагнера («О математической философии»), и географические статьи (Герен).

Лучшими переводами являются переводы любимого им Гёте: отрывки из «Фауста», драмы в стихах («Земная участь» и «Апофеоза художника») и два действия из «Эгмонта». Из «Фауста» Веневитинов перевел наиболее романтичные сцены — Фауст и Вагнер за городом (сцена заката), монолог Фауста в пещере и песню Маргариты. Из них монолог Фауста был напечатан при жизни поэта в первом номере журнала «Московский вестник». Две драмы в стихах Гёте переведены Веневитиновым без точного соблюдения размера подлинника, однако эти переводы отличаются высокими поэтическими достоинствами.

Из трагедии «Эгмонт» Веневитинов перевел две сцены из первого акта: 1) во дворце правительницы Нидерландов Маргариты Пармской, 2) в доме возлюбленной Эгмонта Клары, и второй акт (площадь в Брюсселе).

Выбор для перевода этой трагедии Гёте не случаен. Царская цензура запрещала печатать мятежного «Эгмонта», и включение перевода в собрание сочинений Веневитинова в 1855 году послужило поводом к специальному рассмотрению вопроса в цензурном комитете и Главном управлении цензуры. Первоначальное запрещение было отменено, однако некоторые места были изъяты, а второе действие трагедии так и не увидело тогда света. Достаточно привести следующие слова Ванзена, обращенные к брюссельским ремесленникам, чтобы понять причину этого: «Если бы между вами были люди с душой, да люди к тому же с головой, то мы бы одним махом разорвали оковы! . .»

Критические статьи Веневитинова не многочисленны: это упоминавшиеся уже «Разбор рассуждения Мерзлякова», «Разбор статьи о «Евгении Онегине», «Ответ Полевому» по тому же поводу, заметка о второй главе «Онегина», статья об отрывке из «Бориса Годунова», написанная на французском языке для издававшегося в Петербурге французского журнала, и заметка по

поводу рецензии «Северной пчелы» на перевод И. Козлова «Абидосской невесты» Байрона.

Статью Веневитинова об «Онегине» Пушкин оценил очень высоко: «Это — единственная статья, которую я прочел с любовью и вниманием. Все остальное — или брань, или переслащенная дичь».

В статье об отрывке из «Бориса Годунова» Веневитинов отметил верность Пушкина «непреложным и основным законам поэзии», «добросовестную смелость, с какою поэт воспроизводит свои вдохновения». Слышавший «Бориса Годунова» из уст самого Пушкина, Веневитинов один из первых высоко оценил эту народную драму. «Эта сцена, — писал он про «Келью в Чудовом монастыре», — поразительная по своей простоте и энергии, может быть смело поставлена наряду со всем, что есть лучшего у Шекспира и Гёте». Так же высоко оценил Веневитинов и вторую главу «Евгения Онегина». «Вторая песнь по изобретению и изображению характеров несравненно превосходнее первой», — писал он. Эти похвалы высказывались наперекор отзывам многочисленных критиков этих произведений Пушкина. И в то же время критические замечания Веневитинова шли в разрез с «переслащенными» отзывами Полевого. «Приписывать Пушкину лишнее, — писал Веневитинов, — значит отнимать у него то, что ему истинно принадлежит».

Следует кратко остановиться на собственно философских интересах Веневитинова. В своих статьях он оперирует такими категориями, как движение и развитие, причины и действия, общее и частное, форма и содержание, борьба противоположностей и так далее. Причем Веневитинов рассматривает их не как некие универсальные абстракции, а наполняя конкретным содержанием, видя в борьбе противоречий источник движения, развития: «Весь мир, — говорит он, — составлен из противоположностей». «Самое противоречие производит некоторого рода движение, из которого, наконец, возникает истина» («О состоянии просвещения в России»).

В философии он видит науку, обобщающую опыт всех других наук, указывая, что она обладает своим собственным методом и предметом познания: «История стремится связать случайные события в одно для ума объятное целое; для этого история сводит действия на причины и обратно выводит из причин дей-

ствия... Вообще наука есть стремление приводить частные явления в общую теорию или в систему познания. Следовательно, необходимые условия всякой науки суть: общее стремление и частный предмет; другими словами: форма и содержание» («Письма к графине NN»).

Пользуясь этими диалектическими категориями для анализа современной ему действительности, Веневитинов очень близко подошел к выводам об общественной роли искусства.

Значение Веневитинова для развития отечественной литературы трудно переоценить. В борьбе за передовое искусство, которую вели прогрессивные писатели XIX века, ему принадлежит одно из видных мест. Еще Герцен видел в нем связующее звено между декабристами и последующей эпохой в развитии русской общественной мысли. И как замечательное явление русской национальной культуры Д. В. Веневитинов не утратил своего живого значения до наших дней.

Б. СМИРЕНСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ



К ДРУЗЬЯМ

Пусть искатель гордой славы
Жертвует покоем ей!
Пусть летит он в бой кровавый
За толпой богатырей!
Но надменными венцами
Не прельщен певец лесов:
Я счастлив и без венцов
С лирой, с верными друзьями.

Пусть богатства страсть терзает
Алчущих рабов своих!
Пусть их златом осыпает,
Пусть они из стран чужих
С нагруженными судами
Волны ярые дробят:
Я без золота богат
С лирой, с верными друзьями.

Пусть веселий рой шумящий
За собой толпы влечет!
Пусть на их алтарь блестящий
Каждый жертву понесет!
Не стремлюсь за их толпами —
Я без шумных их страстей
Весел участью своей
С лирой, с верными друзьями.

1821

[ЗНАМЕНИЯ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ ЦЕЗАРЯ]

(Вергилий)

О Феб! тебя ль дерзнем обманчивым назвать?
С небесной высоты ты можешь проникать
До глубины сердец, где возрастают мщенья
И злобы бурные, но тайные волненья.
По смерти Цезаря ты с Римом скорбь делил,
Кровавым облаком чело твое покрыл;
Ты отвратил от нас разгневанные очи,
И мир, преступный мир, страшился вечной ночи.
Но все грозило нам — и рев морских валов,
И вранов томный клик, и лай ужасный псов.
Колькраты зрели мы, как Этны горн кремнистой.
Расплытыя скалы вращал рекой огнистой
И пламя клубами на поле изрыгал.
Германец трепетный на небеса взирал;
Со треском облака сражались с облаками,
И Альпы двигались под вечными снегами.
Священный лес стенал; во мгле густой ночей
Скитался бледный сонм мелькающих теней.
Медь пóтом залилась (чудесный знак печали!),
На мраморах богов мы слезы примечали.
Земля отверзлася, Тибр устремился вспять,
И звери, к ужасу, могли слова вещать;
Разлитый Эридан кипящими волнами
Увлек дремучий лес и пастырей с стадами.
Во внутренности жертв священный взор жрецов

Читал лишь бедствия и грозный гнев богов;
В кровавые струи потоки обращались;
Волки, ревучие средь стогн, во мгле скитались;
Мы зрели в ясный день и молнию, и гром,
И страшную звезду с пылающим хвостом.
И так вторицею орлы дрались с орлами.
В полях Филипповых под теми ж знаменами
Родные меж собой сражались вновь полки,
И в битве падал брат от братьевой руки;
Двукраты рок велел, чтоб римские дружины
Питали кровию фракийские долины.
Быть может, некогда в обширных сих полях,
Где наших воинов лежит бездушный прах,
Спокойный селянин тяжелой бороною
Ударит в шлем пустой и трепетной рукою
Поднимет ржавый щит, затупленный булат, —
И кости под его стопами загремят.
Поборник родины Квирин и вы, о боги!
Блюдящие и Тибр и царские чертоги.

1823

К ДРУЗЬЯМ НА НОВЫЙ ГОД

Друзья! настал и *новый год!*
Забудьте старые печали,
И скорби дни, и дни забот,
И всё, чем радость убивали;
Но не забудьте ясных дней,
Забав, веселий легкокрылых,
Златых часов, для сердца милых,
И старых, искренних друзей.

Живите новым в новый год,
Покиньте старые мечтанья
И всё, что счастья не дает,
А лишь одни родит желанья!
Попрежнему в год новый сей
Любите муз и песен сладость,
Любите шутки, игры, радость
И старых, искренних друзей.

Друзья! встречайте новый год
В кругу родных, среди свободы.
Пусть он для вас, друзья, течет,
Как детства счастливые годы.
Но средь Петропольских затей
Не забывайте звуков лирных,
Занятий сладостных и мирных
И старых, искренних друзей.

1825

ВЕТОЧКА

(Грессе)

В бесценный час уединенья,
Когда пустынною тропой
С живым восторгом упоенья
Ты бродишь с милою мечтой
В тени дубравы молчаливой, —
Видал ли ты, как ветр игривой
Младую веточку сорвет?
Родной кустарник оставляя,
Она виется, упадая
На зеркало ручейных вод,
И, новый житель влаги чистой,
С потоком плыть принуждена.
То над струею серебристой
Спокойно носится она,
То вдруг пред взором исчезает
И кроется на дне ручья;
Плывет — все новое встречает,
Все незнакомые края;
Усеян нежными цветами
Здесь улыбающийся брег,
А там пустыни, вечный снег
Иль горы с грозными скалами.
Так далей веточка плывет
И путь неверный свой свершает,
Пока она не утопает
В пучине беспредельных вод.

Вот наша жизнь! — так к верной цели
Необоримою волной
Поток нас всех от колыбели
Влечет до двери гробовой.

1823

[ПЕСНЬ КОЛЬМЫ]

(Макферсон)

Ужасна ночь, а я одна
Здесь на вершине одинокой.
Округ меня стихий война.
В ущелиях горы высокой
Я слышу ветров свист глухой.
Здесь по скалам с горы крутой
Стремится вниз поток ревучий,
Ужасно над моей главой
Гремит Перун, несутся тучи.
Куда бежать? где милый мой?
Увы, под бурею ночною
Я без убежища, одна!
Блесни на высоте, луна,
Восстань, явися над горою!
Быть может, благодатный свет
Меня к Сальгару приведет.
Он, верно, ловлей изнуренный,
Своими псами окруженный,
В дубраве иль в степи глухой.
Он сбросил с плеч свой лук могучий,
С опущенною тетивой
И, презирая громы, тучи,
Ему знакомый бури вой,
Лежит на мураве сухой.
Иль ждать мне на горе пустынной,
Доколе не наступит день

И не рассеет ночи длинной?
Ужасней гром; ужасней тень;
Сильнее ветров завыванье;
Сильнее волн седых плесканье!
И гласа не слыхать!
О верный друг! Сальгар мой милый,
Где ты? Ах, долго ль мне унылой
Среди пустыни сей страдать?
Вот дуб, поток, о брег дробимый,
Где ты клялся до ночи быть!
И для Сальгара кров родимый
И брат любезный мной забыт.
Семейства наши знают мщенье,
Они враги между собой,
И мы враги, Сальгар, с тобой!
Умолкни, ветр, хоть на мгновенье!
Остановись, поток седой!
Быть может, что любовник мой
Услышит голос, им любимый!
Сальгар! здесь Кольма ждет;
Здесь дуб, поток, о брег дробимый;
Здесь все: лишь милого здесь нет.

1824

[К СКАРЯТИНУ]

(При посылке ему водевиля)

Не плод высоких вдохновений
Певец и друг тебе приносит в дар;
Не Пиэрид небесный жар,
Не пламенный восторг; не гений
Моей душою обладал:
Нестройной песнию моя звучала лира.
И я в безумьи променял
Улыбку муз на смех сатира.
Но ты простишь мне грех безвинный мой;
Ты сам, прекрасного искатель,
Искусств счастливый обожатель,
Нередко для проказ забыв восторг живой,
Кидая кисть — орудье дарованья,
Пред музами грешил наедине
И смелым углем на стене
Чертил фантазии игривые созданья.
Воображенье без оков,
Оно как бабочка игриво:
То любит над блестящей нивой
Порхать в кругу земных цветов,
То к радуге, к цветам небесным мчится.
Не думай, чтоб во мне погас
К высоким песням жар! Нет, он в душе таится,
Его пробудит вновь поэта мощный глас,
И, смелый ученик Байрона,
Я устремлюсь на крылиях мечты

К волшебной стороне, где лебедь Альбиона
Срывал забытые цветы.
Пусть это сон! меня он утешает,
И я не буду унывать,
Пока судьба мне позволяет
Восторг с друзьями разделять.
О друг! мы разными стезями
Пройдем определенный путь:
Ты избрал поприще, покрытое трудами,
Я захотел заране отдохнуть;
Под мирной сению оливы
Я избрал свой приют; но жребий мой счастливый
Не должен славою мелькнуть:
У скромной тишины на лоне
Прокрадется безвестно жизнь моя,
Как тихая вода пустынного ручья.
Ты бодрый дух обрек Беллоне
И, доблесть сильных возлюбя,
Обрек свой меч кумиру громкой славы —
Иди! — Но стана шум, воинские забавы,
Все будет чуждо для тебя,
Как сна нежданные виденья,
Как мира нового явленья.
Быть может, на брегу Днепра,
Когда в тени подвижного шатра
Твои товарищи, драгуны удалые,
Кипя отвагой боевой,
Сберутся вкруг тебя шумящею толпой,
И громко застучат бокалы круговые, —
Жалея мыслию о прежней тишине,
Ты вспомнишь о друзьях, ты вспомнишь обо мне;
Чуждаясь новых сих веселий,
О списке вспомнишь ты моем
Иль, взор нечаянно остановив на нем,
Промолвишь про себя: мы некогда умели
Шалить с пристойностью, проказничать с умом.

1825

[СОНЕТ]

К тебе, о чистый Дух, источник вдохновенья,
На крылиях любви несется мысль моя;
Она затеряна в юдоли заточенья,
И все зовет ее в небесные края.

Но ты облек себя в завесу тайны вечной:
Напрасно силится мой дух к тебе парить.
Тебя читаю я во глубине сердечной,
И мне осталося надеяться, любить.

Греми надеждою, греми любовью, лира!
В преддверьи вечности греми его хвалой!
И если б рухнул мир, затмился свет эфира

И хаос задавил природу пустотой, —
Греми! Пусть сетуют среди развалин мира
Любовь с надеждою и верою святой!

1824

[СОНЕТ]

Спокойно дни мои цвели в долине жизни;
Меня лелеяли веселие с мечтой:
Мне мир фантазии был ясный край отчизны,
Он привлекал меня знакомой красотой.

Но рано пламень чувств, душевные порывы
Волшебной силою разрушили меня:
Я жизни сладостной теряю луч счастливый,
Лишь вспоминание от прежнего храня.

О муза! я познал твое очарованье!
Я видел молний блеск, свирепость ярых волн;
Я слышал треск громов и бурей завыванье:

Но что сравнить с певцом, когда он страсти полн?
Прости! питомец твой тобою погибает,
И, погибающий, тебя благословляет.

[СМЕРТЬ БАЙРОНА]

(Четыре отрывка из неоконченного пролога)

[Байрон]

К тебе стремился я, страна очарований!
Ты в блеске снилась мне, и ясный образ твой,
В волшебные часы мечтаний,
На крыльях радужных летал передо мной.

Ты обещала мне отдать восторг целебной,
Насытить жадный дух добычею веков,
И стройный хор твоих певцов,
Гремя гармонией волшебной,

Мне издали манил с полуденных брегов.
Здесь думал я поднять таинственный покров
С чела таинственной природы,

Узнать вблизи сокрытые черты
И в океане красоты
Забыть обман любви, забыть обман свободы.

Вождь греков

Сын севера! Взгляни на волны:
Их вражии покрыли корабли,
Но час пройдет — и наши челны
Им смерть навстречу понесли!
Они еще сокрыты за скалою;

Но скоро́ вылетят на произвол валов.
Сын севера! готовься к бою.

Байрон

Я умереть всегда готов.

Вождь

Да! Смерть мила, когда цвет жизни
Приносишь в дань своей отчизне.
Я сам не раз ее встречал
Средь нашей доблестной дружины,
И зыбкости морской пучины
Надежду, жизнь и все вверял.
Я помню славный берег Хио —
Он в памяти и у врагов.
Средь верной пристани ночуя,
Спокойные магометане
Не думали о шуме браней.
Покой лелеял их беспечность.
Но мы, мы греки, не боимся
Тревожить сон своих врагов:
Летим на десяти ладьях;
Взвилися молньи роковые,
И вмиг зажглись валы морские.
Громады кораблей взлетели, —
И все затихло в бездне вод.
Что ж озарил луч ясный утра?
Лишь опустелый океан,
Где изредка обломок судна
К зеленым несся берегам
Иль труп холодный, и с чалмою
Качался тихо над волною.

[Хор]

Валы Архипелага
Кипят под злой ватагой;
Друзья! на кораблях
Вдали чалмы мелькают,
И месяцы сверкают
На белых парусах.

Плывут рабы султана,
Но заповедь Корана
Им не залог побед.
Пусть их несет отвага!
Сыны Архипелага
Им смерть пошлют вослед.

Хор

Орел! Какой Перун враждебной
Полет твой смелый прекратил?
Чей голос силою волшебной
Тебя созвал во тьму могил?
О Эвр! вей вестию печальной!
Реви уныло, бурный вал!
Пусть Альбиона берег дальной,
Трепеща, слышит, что он пал.

Стекайтесь, племена Эллады,
Сыны свободы и побед!
Пусть вместо лавров и награды
Над гробом грянет наш обет:
Сражаться с пламенной душою
За счастье Греции, за месть,
И в жертву падшему герою
Луну поблекшую принесть!

1825

ПЕСНЬ ГРЕКА

Под небом Аттики богатой
Цвела счастливая семья.
Как мой отец, простой оратай,
За плугом пел свободу я.
Но турков злые ополченья
На наши хлынули владенья...
Погибла мать, отец убит,
Со мной спаслась сестра младая,
Я с нею скрылся, повторяя:
За все мой меч вам отомстит.

Не лил я слез в жестоком горе,
Но грудь стеснило и свело;
Наш легкий чолн помчал нас в море,
Пылало бедное село
И дым столбом чернел над валом.
Сестра рыдала, — покрывалом
Печальный взор полузакрыт;
Но, слыша тихое моленье,
Я припевал ей в утешенье:
За все мой меч им отомстит.

Плывем и при луне сребристой
Мы видим крепость над скалой.
Вверху, как тень, на башне мшистой
Шагал турецкой часовой;
Чалма склонилася к пищали —
Внезапно волны засверкали,

И вот — в руках моих лежит
Без жизни дева молодая.
Я обнял тело, повторяя:
За все мой меч вам отомстит.

Восток румянился зарею,
Пристала к берегу ладья,
И над шумящею волною
Сестре могилу вырыл я.
Не мрамор с надписью унылой
Скрывает тело девы милой, —
Нет, под скалою труп зарыт;
Но на скале сей неизменной
Я начертал обет священной:
За все мой меч вам отомстит.

С тех пор меня магометане
Узнали в стычке боевой,
С тех пор, как часто в шуме браней
Обет я повторяю свой!
Отчизны гибель, смерть прекрасной,
Все, все припомню в час ужасной;
И всякий раз, как меч блестит
И падает глава с чалмою,
Я говорю с улыбкой злою:
За все мой меч вам отомстит.

1825

ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ

(Посвящено Софье Владимировне Веневитиновой)

На небе все цветы прекрасны.
Все мило светят над землей,
Все дышат горней красотой.
Люблю я цвет лазури ясной;
Он часто томностью пленял
Мои задумчивые вежды,
И в сердце робкое вливал
Отрадный луч благой надежды.
Люблю, люблю я цвет луны,
Когда она в полях эфира
С дарами сладостного мира
Плывет как ангел тишины.
Люблю цвет радуги прозрачной, —
Но из цветов любимый мой
Есть цвет денницы молодой:
В сем цвете, как в одежде брачной,
Сияет утром небосклон.
Он цвет невинности счастливой,
Он чист, как девы взор стыдливой,
И ясен, как младенца сон.

Когда и страх и рой веселий —
Все было чуждо для тебя
В пределах тесной колыбели;
Посланник неба, возлюбя

Младенца милую беспечность,
Тебя лелеял в тишине,
Ты почивала — но во сне,
Душой разгадывая вечность,
Встречала ясную мечту
Улыбкой милою, прелестной.
Что сорвало улыбку ту?
Что зрела ты? — мне неизвестно —
Но твой хранитель, гость небесной
Взмахнул таинственным крылом, —
И тень ночная пробежала,
На небосклоне заиграла
Денница пурпурным огнем,
И луч румяного рассвета
Твои ланиты озарил.
С тех пор он вдвое стал мне мил,
Сей луч румяного рассвета.
Храни его — не даром он
На девственных щеках возжен,
Не отблеск красоты напрасной,
Нет — он печать минуты ясной,
Залог он тайный, неземной.
На небе все цветы прекрасны,
Все дышат горней красотой;
Но меж цветов есть цвет святой —
Он цвет денницы молодой.

1825. Августа 13.

К. И. ГЕРКЕ

(При послании трагедии Вернера)

В вечерний час уединенья,
Когда, свободный от трудов,
Ты сердцем жаждешь вдохновенья,
Гармоньи сладостной стихов,

Читай, мечтай — пусть пред тобою
Завеса времени падет,
И ясной длинной чередою
Промчится ряд минувших лет!

Взгляни! уже могучий гений
Расторгнул хладный мрак могил;
Уже, собрав героев тени,
Тебя их сонмом окружил —

Узнай печать небесной силы
На побледневших их челах.
Ее не сгладил прах могилы,
И тот же пламень в их очах...

Но ты во храме. Вкруг гробницы,
Где милое дитя лежит,
Поют печальные девицы
И к небу стройный плач летит:

«Зачем она, как майский цвет,
На миг блеснувший красотою,
Оставила так рано свет
И радость унесла с собою!»

Ты слушаешь — и слезы пали
На лист с пылающих ланит,
И чувство тихое печали
Невольно сердце шевелит.

Блажен, блажен, кто в полдень жизни
И на закате ясных лет,
Как в недрах радостной отчизны,
Еще в фантазии живет.

Кому небесное — родное,
Кто сочетает с сединой
Воображенье молодое
И разум с пламенной душой.

В волшебной чаше наслажденья
Он дна пустого не найдет
И вскликнет, в чувствах упоенья:
«Прекрасному пределов нет!»

ПОСЛАНИЕ К РОЖАЛИНУ

Я молод, друг мой, в цвете лет,
Но я изведал жизни море,
И для меня уж тайны нет
Ни в пылкой радости, ни в горе.
Я долго тешился мечтой,
Звездам небесным слепо верил
И океан безбрежный мерил
Своею утлою ладьей.
С надменной радостью, бывало,
Глядел я, как мой смелый челн
Печатал след свой в бездне волн.
Меня пучина не пугала:
«Чего страшиться? — думал я, —
Бывало ль зеркало так ясно,
Как зыбь морей?» Так думал я
И гордо плыл, забыв края.
И что ж скрывалось под волною?
О камень грянул я ладьею,
И вдребезги моя ладья!
Обманут небом и мечтою,
Я проклял жребий и мечты...
Но издали манил мне ты,
Как брег призывный улыбался,
Тебя с восторгом я обнял,
Поверил снова наслажденьям
И с хладной жизнью сочетал
Души горячей сновиденья.

1825

ПОЭТ

Тебе знаком ли сын богов,
Любимец муз и вдохновенья?
Узнал ли б меж земных сынов
Ты речь его, его движенья?
Не вспыльчив он, и строгий ум
Не блещет в шумном разговоре,
Но ясный луч высоких дум
Невольно светит в ясном взоре.
Пусть вкруг него, в чаду утех,
Бушует ветреная младость,
Безумный крик, нескромный смех
И необузданная радость:
Все чуждо, дико для него,
На все спокойно он взирает,
Лишь редко что-то с уст его
Улыбку беглую срывает.
Его богиня — простота,
И тихий гений размышленья
Ему поставил от рожденья
Печать молчанья на уста.
Его мечты, его желанья,
Его боязни, упованья —
Все тайна в нем, все в нем молчит:
В душе заботливо хранит
Он неразгаданные чувства...
Когда ж внезапно что-нибудь
Взволнует огненную грудь, —
Душа, без страха, без искусства,

Готова вылиться в речах
И блещет в пламенных очах...
И снова тих он, и стыдливый
К земле он опускает взор,
Как будто слышит он укор
За невозвратные порывы.
О, если встретишь ты его
С раздумьем на челе суровом, —
Пройди без шума близ него,
Не нарушай холодным словом
Его священных, тихих снов;
Взгляни с слезой благоговенья
И молви: это сын богов,
Любимец муз и вдохновенья.

1826

НОВГОРОД

(Посвящено к[няжне] А. И. Т[рубецкой])

«Валяй, ямщик, да говори,
Далеко ль Новград?» — «Не далеко,
Версты четыре или три.
Вон видишь что-то там высоко,
Как черный лес издалека...»
«Ну, вижу; это облака».
«Нет! Это Нóвградские кровли».
Ты ль предо мной, о древний град!
Отчизна славы и торговли!
Как живо сердцу говорят
Холмы разбросанных обломков!
Не смолкли в них твои дела,
И слава предков перешла
В уста правдивые потомков.
«Ну, тройка! духом донесла!»
«Потише. Где собор Софийской?»
«Собор отсюда, барин, близко.
Вот улица, да влево две,
А там найдешь уж сам собою,
И крест на золотой главе
Уж будет прямо пред тобою».
Везде былого свежий след!
Века прошли... но их полет
Промчался здесь, не разрушая.
«Ямщик! Где площадь вечевая?»
«Прозванья этого здесь нет...»

«Как нет?» — «А, площадь? Недалеко:
За этой улицей широкой.
Вот площадь. Видишь шесть столбов?
По сказкам наших стариков,
На сих столбах висел когда-то
Огромный колокол, но он
Давно отсюда увезен».
«Молчи, мой друг; здесь место свято:
Здесь воздух чище и вольней!
Потише! .. Нет, ступай скорей:
Чего ищу я здесь, безумной?
Где Волхов?» — «Вот перед тобой
Течет под этою горой. . .»
Все так же он волною шумной,
Играя, весело бежит! ..
Он о минувшем не грустит.
Так все здесь близко, как и прежде. ..
Теперь ты сам ответствуй мне,
О Но́вград! В вековой одежде
Ты предо мной как в седине,
Бессмертных витязей ровесник.
Твой прах гласит, как бдящий вестник,
О непробудной старине.
Ответствуй, город величавый:
Где времена цветущей славы,
Когда твой голос, бич врагов,
Звуча здесь медью в бурном вече,
К суду или к кровавой сече,
Как глас отца сзывал сынов?
Когда твой меч, гроза соседа,
Карал и рыцарей и шведа,
И эта гордая волна
Носила дань войны жестокой?
Скажи, где эти времена?
Они далёко, ах далёко!

1826

МОЯ МОЛИТВА

Души невидимый хранитель,
Услышь моление мое!
Благослови мою обитель
И стражем стань у врат ее,
Да через мой порог смиренный
Не прешагнет, как тать ночной,
Ни обольститель ухищренный,
Ни лень с убитою душой,
Ни зависть с глазом ядовитым,
Ни ложный друг с коварством скрытым.
Всегда надежною броней
Пусть будет грудь моя одета,
Да не сразит меня стрелой
Измена мстительного света.
Не отдавай души моей
На жертву суетным желаньям;
Но воспитай спокойно в ней
Огонь возвышенных страстей.
Уста мои сомкни молчаньем,
Все чувства тайной осени,
Да взор холодный их не встретит,
Да луч тщеславья не просветит
На незамеченные дни.
Но в душу влей покоя сладость,
Посей надежды семена
И отжени от сердца радость:
Она — неверная жена.

1826

ЖИЗНЬ

Сначала жизнь пленяет нас;
В ней все тепло, все сердце греет
И, как заманчивый рассказ,
Наш ум причудливый лелеет.
Кой-что страшит издалека, —
Но в этом страхе наслажденье:
Он веселит воображенье,
Как о волшебном приключенье
Ночная повесть старика.
Но кончится обман игривой!
Мы привыкаем к чудесам —
Потом на все глядим лениво,
Потом и жизнь постыла нам:
Ее загадка и завязка
Уже длинна, стара, скучна,
Как пересказанная сказка
Усталому пред часом сна.

1826

Ваня извощик да говори
Далеко ль Новгород? — Не далее
Версты четыре или три.
Вот видишь крест там высоко
Как церкви лишь издалека —
— Ну вижу сии облака —
— Итак это Новгородский древн.
— ~~Тебя ли вижу~~ Ты ль предо мною о древний град.
~~[illegible]~~ Отчизна славы и торговли.
Как речь сердцу говорит
Твоих ~~тех~~ разбросанных обломков
И спокойно ли мил твои дни
И слава предков исчезла
Во цвете правдивых потомков.
— Ну трогай на древних днищах.
— Потише. Где собор Софийской
— ~~Церковь говорят там~~ Собор отсюда виден [illegible]
Вот у моря да в левой дом
А там видишь пред самой собою
И прямо из замшелой главы
Что будет прямо пред тобою.
Куда бывали вольн. вече
Весь этот [illegible] совет
Прошлые здесь не разрушили.

Автограф Веневитинова «Новгород».

Страница первая. Публикуется впервые.

ПОСЛАНИЕ К [РОЖАЛИНУ]

Оставь, о друг мой, ропот твой;
Смири преступные волненья;
Не ищет вчуже утешенья
Душа, богатая собой.
Не верь, чтоб люди разгоняли
Сердец возвышенных печали.
Скупая дружба их дарит
Пустые ласки, а не счастье;
Гордись, что ими ты забыт, —
Их равнодушное бесстрастье
Тебе да будет похвалой.
Заре не улыбался камень;
Так и сердец небесный пламень
Толпе бездушной и пустой
Всегда был тайной непонятной!
Встречай ее с душой булатной
И не страшись от слабых рук
Ни сильных ран, ни тяжких мук.
О, если б мог ты быстрым взором
Мой новый жребий пробежать,
Ты перестал бы искушать
Судьбу неправедным укором.
Когда б ты видел этот мир,
Где взор и вкус разочарован,
Где чувство стынет, ум окован
И где тщеславие — кумир;

Когда б в пустыне многолюдной
Ты не нашел души одной, —
Поверь, ты б навсегда, друг мой,
Забыл свой ропот безрассудной...
Как часто в пламени речей,
Носяся мыслью средь друзей,
Мечте обманчивой, послушной,
Давал я руку простодушно —
Никто не жал руки моей.
Здесь лаской жаркого привета
Душа младая не согрета.
Не нахожу я здесь в очах
Огня, возженного в них чувством,
И слово, сжатое искусством,
Невольно мрет в моих устах.
О, если бы могли моленья
Достигнуть до небес скупых,
Не новой чаши наслажденья,
Я б прежних дней просил у них.
Отдайте мне друзей моих,
Отдайте пламень их объятий,
Их тихий, но горячий взор,
Язык безмолвных рукожатий
И вдохновенный разговор.
Отдайте сладостные звуки:
Они мне счастия поруки, —
Так тихо веяли они
Огнем любви в душе невежды
И светлой радугой надежды
Мои расписывали дни.

Но нет! не все мне изменило:
Еще один мне верен друг,
Один он для души унылой
Друзей здесь заменяет круг.
Его беседы и уроки
Ловлю вниманьем жадным я;
Они и ясны и глубоки,
Как будто волны бытия;
В его фантазии богатой
Я полной жизнию ожил

И ранний опыт не купил
Восторгов раннею утратой.
Он сам не жертвует страстям,
Он сам не верит их мечтам;
Но, как создания свидетель,
Он развернул всей жизни ткань.
Ему порок и добродетель
Равно несут покорно дань,
Как гордому владыке мира:
Мой друг, узнал ли ты Шекспира?

1826

ЗАВЕЩАНИЕ

Вот час последнего страданья!
Внимайте: воля мертвеца
Страшна, как голос прорицанья.
Внимайте: чтоб сего кольца
С руки холодной не снимали:
Пусть с ним умрут мои печали
И будут с ним схоронены.
Друзьям — привет и утешенье!
Восторгов лучшие мгновенья
Мной были им посвящены.
Внимай и ты, моя богиня!
Теперь души твоей святыня
Мне и доступней и ясней;
Во мне умолкнул глас страстей,
Любви волшебство позабыто,
Исчезла радужная мгла,
И то, что раем ты звала,
Передо мной теперь открыто.
Приближься! вот могилы дверь!
Мне все позволено теперь:
Я не боюсь суждений света.
Теперь могу тебя обнять,
Теперь могу тебя лобзать,
Как с первой радостью привета
В раю лик ангелов святых
Устами б чистыми лобзали,

Когда бы мы в восторге их
За гробом сумрачным встречали...
Но эту речь ты позабудь:
В ней тайный ропот исступленья;
Зачем холодные сомненья
Я вылью в пламенную грудь?
К тебе одно, одно моленье!
Не забывай! .. прочь уверенья —
Клянись!.. Ты веришь, милый друг,
Что за могильным сим пределом
Душа моя простится с телом
И будет жить, как вольный дух,
Без образа, без тьмы и света,
Одним нетлением одета.
Сей дух, как вечнобдящий взор,
Твой будет спутник неотступной,
И если памятью преступной
Ты изменишь... беда! С тех пор
Я тайно облекусь в укор;
К душе прилипну вероломной,
В ней пищу мщения найду
И будет сердцу грустно, томно,
А я, как червь, не отпаду.

К МОЕМУ ПЕРСТНЮ

Ты был отрыт в могиле пыльной,
Любви глашатай вековой,
И снова пыли ты могильной
Завещан будешь, перстень мой.
Но не любовь теперь тобой
Благословила пламень вечной
И над тобой, в тоске сердечной,
Святой обет произнесла...
Нет! дружба в горький час прощанья
Любви рыдающей дала
Тебя залогом состраданья.
О, будь мой верный талисман!
Храни меня от тяжких ран,
И света, и толпы ничтожной,
От едкой жажды славы ложной,
От обольстительной мечты
И от душевной пустоты.
В часы холодного сомненья
Надеждой сердце оживи,
И если в скорбях заточенья,
Вдали от ангела любви,
Оно замыслит преступленье, —
Ты дивной силой укроти
Порывы страсти безнадежной
И от груди моей мятежной
Свинец безумства отврати.

Когда же я в час смерти буду
Прощаться с тем, что здесь люблю,
Тебя в прощаньи не забуду:
Тогда я друга умолю,
Чтоб он с моей руки холодной
Тебя, мой перстень, не снимал,
Чтоб нас и гроб не разлучал.
И просьба будет не бесплодна:
Он подтвердит обет мне свой
Словами клятвы роковой.
Века промчатся, и быть может,
Что кто-нибудь мой прах встревожит
И в нем тебя отроет вновь;
И снова робкая любовь
Тебе прошепчет суеверно
Слова мучительных страстей,
И вновь ты другом будешь ей,
Как был и мне, мой перстень верной.

[КИНЖАЛ]

Оставь меня, забудь меня!
Тебя одну любил я в мире,
Но я любил тебя как друг,
Как любят звездочку в эфире,
Как любят светлый идеал
Иль ясный сон воображенья.
Я много в жизни распознал,
В одной любви не знал мученья,
И я хочу сойти во гроб,
Как очарованный невежда.

Оставь меня, забудь меня!
Взгляни — вот где моя надежда;
Взгляни — но что вздрогнула ты?
Нет, не дрожи: смерть не ужасна;
Ах, не шепчи ты мне про ад:
Верь, ад на свете, друг прекрасной!
Где жизни нет, там муки нет.
Дай поцелуй в залог прощанья...
Зачем дрожат твои лобзанья?
Зачем в слезах горит твой взор?

Оставь меня, люби другого!
Забудь меня, я скоро сам
Забуду скорбь житья земного.

1826

ТРИ РОЗЫ

В глухую степь земной дороги,
Эмблемой райской красоты,
Три розы бросили нам боги,
Эдема лучшие цветы.
Одна под небом Кашемира
Цветет близ светлого ручья;
Она любовница зефира
И вдохновенье соловья.
Ни день, ни ночь она не вянет,
И если кто ее сорвет,
Лишь только утра луч проглянет,
Свежее роза расцветет.

Еще прелестнее другая:
Она, румяною зарей
На раннем небе расцветая,
Пленяет яркой красотой.
Свежей от этой розы веет
И веселей ее встречать:
На миг один она алеет,
Но с каждым днем цветет опять.

Еще свежей от третьей веет,
Хотя она не в небесах;
Ее для жарких уст лелеет
Любовь на девственных щеках.

Но эта роза скоро вянет:
Она пуглива и нежна,
И тщетно утра луч проглянет —
Не расцветет опять она.

1826

ТРИ УЧАСТИ

Три участи в мире завидны, друзья.
Счастливец, кто века судьбой управляет,
В душе неразгаданной думы тая.
Он сеет для жатвы, но жатв не сбирает;
Народов признанья ему не хвала,
Народов проклятья ему не упреки.
Векам завещает он замысл глубокий;
По смерти бессмертного зреют дела.

Завидней поэта удел на земли.
С младенческих лет он сдружился с природой,
И сердце Камены от хлада спасли,
И ум непокорный воспитан свободой,
И луч вдохновенья зажегся в очах.
Весь мир облекает он в стройные звуки;
Стеснится ли сердце волнением муки —
Он выплачет горе в горючих стихах.

Но верьте, друзья! всех счастливей стократ
Беспечный питомец забавы и лени.
Глубокие думы души не мутят,
Не знает он слез и огня вдохновений,
И день для него, как другой, пролетел,
И будущий снова он встретит беспечно,
И сердце увянет без муки сердечной —
О рок! что ты не дал мне этот удел?

1827

ДОМОВОЙ

«Что ты, Параша, так бледна?»
«Родная! домовой проклятый
Меня звал нынче у окна.
Весь в черном, как медведь, лохматый,
С усами, да какой большой!
Век не видать тебе такого».
«Перекрестися, ангел мой!
Тебе ли видеть домового?»

«Ты не спала, Параша, ночь?»
«Родная! страшно; не отходит
Проклятый бес от двери прочь;
Стучит задвижкой, дышит, бродит,
В сенях мне шепчет: «отопри!»
«Ну, что же ты?» — «Да я ни слова».
«Э, полно, ангел мой, не ври:
Тебе ли слышать домового?»

«Параша, ты не весела;
Опять всю ночь ты прострадала?»
«Нет, ничего: я ночь спала».
«Как ночь спала! ты тосковала,
Ходила, отпирала дверь;
Ты, верно, испугалась снова?»
«Нет, нет, родимая, поверь!
Я не видала домового».

1826

К ПУШКИНУ

Известно мне: доступен гений
Для гласа искренних сердец.
К тебе, возвышенный певец,
Взываю с жаром песнопений.
Рассей на миг восторг святой,
Раздумье творческого духа
И снисходительного слуха
Младую музу удостой.
Когда пророк свободы смелый,
Тоской измученный поэт,
Покинул мир осиротелый,
Оставя славы жаркий свет
И тень всемирные печали,
Хвалебным громом прозвучали
Твои стихи ему вослед.
Ты дань принес увядшей силе
И славе на его могиле
Другое имя завещал.
Ты тише, слаще воспевал
У муз похищенного Галла.
Волнуясь песнею твоей,
В груди восторженной моей
Душа рвалась и трепетала.
Но ты еще не доплатил
Каменам долга вдохновенья:
К хвалам оплаканных могил
Прибавь веселые хваленья.

Их ждет еще один певец:
Он наш, — жилец того же света,
Давно блестит его венец;
Но славы громкого привета
Звучней, отрадней глас поэта.
Наставник наш, наставник твой,
Он кроется в стране мечтаний,
В своей Германии родной.
Досель хладеющие длани
По струнам бегают порой,
И перерывчатые звуки,
Как после горестной разлуки
Старинной дружбы милый глас
К знакомым думам клонят нас.
Досель в нем сердце не остыло,
И верь, он с радостью живой
В приюте старости унылой
Еще услышит голос твой,
И, может быть, тобой плененный,
Последним жаром вдохновенный,
Ответно лебедь запоет
И, к небу с песнию прощанья
Стремя торжественный полет,
В восторге дивного мечтанья
Тебя, о Пушкин, назовет.

1826

К ЛЮБИТЕЛЮ МУЗЫКИ

Молю тебя, не мучь меня:
Твой шум, твои рукоплесканья,
Язык притворного огня,
Бессмысленные восклицанья
Противны, ненавистны мне.
Поверь, привычки раб холодный,
Не так, не так восторг свободный
Горит в сердечной глубине.
Когда б ты знал, что́ эти звуки,
Когда бы тайный их язык
Ты чувством пламенным проник, —
Поверь, уста твои и руки
Сковались бы, как в час святой,
Благоговейной тишиной.
Тогда душа твоя, немея,
Вполне бы радость поняла,
Тогда б она живей, вольнее
Родную душу обняла.
Тогда б мятежные волненья
И бури тяжкие страстей —
Все бы утихло, смолкло в ней
Перед святыней наслажденья.
Тогда б ты не желал блеснуть
Личиной страсти принужденной,
Но ты б в углу, уединенной,
Таил вселюбящую грудь.

Тебе бы люди были братья,
Ты б тайно слезы проливал
И к ним горячие объятья,
Как друг вселенной, простирал.

[УТЕШЕНИЕ]

Блажен, кому судьба вложила
В уста высокий дар речей,
Кому она сердца людей
Волшебной силой покорила;
Как Прометей, похитил он
Источник жизни дивный пламень,
И вкруг себя, как Пигмальон,
Одушевляет хладный камень,
Немногие небесный дар
В удел счастливый получают,
И редко, редко сердца жар
Уста послушно выражают.
Но если в душу вложена
Хоть искра страсти благородной, —
Поверь, не даром в ней она;
Не теплится она бесплодно...
Не с тем судьба ее зажгла,
Чтоб смерти хладная зола
Ее навеки потушила:
Нет! — что в душевной глубине.
Того не унесет могила:
Оно останется по мне.

Души пророчества правдивы.
Я знал сердечные порывы,
Я был их жертвой, я страдал
И на страданья не роптал;

Мне было в жизни утешенье,
Мне тайный голос обещал,
Что не напрасное мученье
До срока растерзало грудь.
Он говорил: «Когда-нибудь
Созреет плод сей муки тайной
И слово сильное случайно
В нежданном пламени речей
Из груди вырвется твоей;
Уронишь ты его не даром:
Оно чужую грудь зажжет,
В нее как искра упадет
И в ней пробудится пожаром».

1826

[ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ]

О жизнь, коварная сирена,
Как сильно ты к себе влечешь!
Ты из цветов блестящих вьешь
Оковы гибельного плена.
Ты кубок счастья подаешь
И песни радости поешь;
Но в кубке счастья — лишь измена,
И в песнях радости — лишь ложь.

Не мучь напрасным искушеньем
Груди истерзанной моей
И не лови моих очей
Каким-то светлым привиденьем.
Меня не тешит ложный сон.
Тебе мои скупые длани
Не принесут покорной дани,
Нет, я тебе не обречен.

Твоей пленительной изменой
Ты можешь в сердце поселить
Минутный огнь, раздор мгновенный,
Ланиты бледностью покрыть
И осенить печалью младость,
Отнять покой, беспечность, радость,
Но не отымешь ты, поверь,
Любви, надежды, вдохновений!
Нет! их спасет мой добрый гений,

И не мои они теперь.
Я посвящаю их отныне
Навек поэзии святой
И с страшной клятвой и с мольбой
Кладу на жертвенник богине.

1827

К ИЗОБРАЖЕНИЮ УРАНИИ

Пять звезд увенчали чело вдохновенной:
    Поэзии дивной звезда,
Звезда благодатная милой надежды,
    Звезда беззакатной любви,
Звезда лучезарная искренней дружбы.
    Что пятая будет звезда?
Да будет она, благотворные боги,
    Душевного счастья звездой.

1827

[НА НОВЫЙ (1827) ГОД]

Так снова год, как тень, мелькнул,
Сокрылся в сумрачную вечность
И быстрым бегом упрекнул
Мою ленивую беспечность.
О, если б он меня спросил:
«Где плод горячих обещаний?
Чем ты меня остановил?»
Я не нашел бы оправданий
В мечтах рассеянных моих —
Мне нечем заглушить упрека!
Но слушай ты, беглец жестокой!
Клянусь тебе в прощальный миг:
Ты не умчался без возврату;
Я за тобою полечу
И наступающему брату
Весь тяжкий долг свой доплачу.

1827. Генв. 1-е. Полночь.

КРЫЛЬЯ ЖИЗНИ

(Мильвуа)

На легких крылышках
Летают ласточки;
Но легче крылышки
У жизни ветреной.
Не знает в юности
Она усталости
И радость резвую
Берет доверчиво
К себе на крылия.
Летит, любуется
Прекрасной ношею...
Но скоро тягостна
Ей гостья милая;
Устали крылышки,
И радость резвую
Она стряхает с них.
Печаль ей кажется
Не столь тяжелою,
И, прихотливая,
Печаль туманную
Берет на крылия
И в даль пускается
С подругой новою.
Но крылья легкие
Все боле, более
Под ношей клонятся.

И вскоре падает
С них гостья новая,
И жизнь усталая
Одна, без бремени,
Летит свободнее;
Лишь только в крылиях,
Едва заметные,
От ношей брошенных
Следы осталися —
И отпечатались
На легких перышках
Два цвета бледные:
Немного светлого
От резвой радости,
Немного темного
От гостьи сумрачной.

ИТАЛИЯ

Италия, отчизна вдохновенья!
Придет мой час, когда удастся мне
Любить тебя с восторгом наслажденья,
Как я люблю твой образ в светлом сне.
Без горя я с мечтами распрощаюсь,
И наяву, в кругу твоих чудес,
Под яхонтом сверкающих небес,
Младой душой по воле разыграюсь.
Там радостно я буду петь зарю
И поздравлять царя светил с восходом,
Там гордо я душою воспарю
Под пламенным необозримым сводом.
Как весело в нем утро золотое
И сладостна серебряная ночь!
О мир сует! тогда от мыслей прочь!
В объятьях нег и в творческом покое
Я буду жить в минувшем средь певцов,
Я вызову их сонмы из гробов!
Тогда, о Тасс! твой мирный сон нарушу,
И твой восторг, полуденный твой жар
Прольет и жизнь и песней сладких дар
В холодный ум и в северную душу.

ЭЛЕГИЯ

(Кн. З. Волконской)

Волшебница! Как сладко пела ты
Про дивную страну очарованья,
Про жаркую отчизну красоты!
Как я любил твои воспоминанья,
Как жадно я внимал словам твоим
И как мечтал о крае неизвестном!
Ты упилась сим воздухом чудесным,
И речь твоя так страстно дышит им!
На цвет небес ты долго нагляделась
И цвет небес в очах нам привезла.
Душа твоя так ясно разгорелась
И новый огнь в груди моей зажгла.
Но этот огнь томительный, мятежной,
Он не горит любовью мирной, нежной, —
Нет! он и жжет, и мучит, и мертвит,
Волнуется изменчивым желаньем,
То стихнет вдруг, то бурно закипит,
И сердце вновь пробудится страданьем.
Зачем, зачем так сладко пела ты?
Зачем и я внимал тебе так жадно
И с уст твоих, певица красоты,
Пил яд мечты и страсти безотрадной?

К МОЕЙ БОГИНЕ

Не думы гордые вздымают
Страстей исполненную грудь,
Не волны невские мешают
Душе усталой отдохнуть, —
Когда я вдоль реки широкой
Скитаюсь мрачный, одинокой
И взор блуждает по брегам,
Язык невнятное лепечет,
И тихо плещущим волнам
Слова прерывистые мечет.
Тогда от мыслей далека
И гордая надежда славы,
И тихоструйная река,
И невский берег величавый;
Тогда не робкая тоска
Бессильным сердцем обладает
И тайный ропот мне внушает...
Тебе понятен ропот сей,
О божество души моей!
Холодной жизнию бесстрастья
Ты знаешь, мне ль дышать и жить?
Ты знаешь, мне ль боготворить
Душой, не созданной для счастья,
Толпы привычные мечты
И дани раболепной службы
Носить кумиру суеты?
Нет! нет! и теплые дни дружбы

И дни горячие любви
К другому сердце приучили:
Другой огонь они в крови,
Другие чувства поселили.
Зачем мне счастье? Что оно?
Не ты ль твердила, что судьбою
Оно лишь робким здесь дано,
Что счастья с пламенной душою
Нельзя в сем мире сочетать,
Что для него мне не дышать...

О, будь благословенна мною!
Оно священно для меня,
Сие пророчество несчастья,
И, как завет, его храня,
С каким восторгом сладострастья
Я жду губительного дня
И торжества судьбы коварной!
И, если б ум неблагодарной
На небо возроптал в бедах,
Твое явленье б, ангел милой,
Как дар небес, остановило
Проклятье на моих устах.
Мою бы грудь наполнил снова
Благоговения святого
Целебный взгляд твоих очей,
И снова бы в душе моей
Воскресло силы наслажденье,
И счастья гордое презренье,
И сладостная тишина.
Вот, вот, что грудь мою вздымает
И тайный ропот мне внушает!
Вот, чем душа моя полна,
Когда я вдоль Невы широкой
Скитаюсь мрачный, одинокой.

1826

* * *

Я чувствую, во мне горит
Святое пламя вдохновенья,
Но к темной цели дух парит...
Кто мне укажет путь спасенья?
Я вижу, жизнь передо мной
Кипит, как океан безбрежной...
Найду ли я утес надежной,
Где твердой обопрусь ногой?
Иль, вечного сомненья полный,
Я буду горестно глядеть
На переменчивые волны,
Не зная, что любить, что петь?

Открой глаза на всю природу, —
Мне тайный голос отвечал, —
Но дай им выбор и свободу,
Твой час еще не наступал:
Теперь гонись за жизнью дивной
И каждый миг в ней воскрешай,
На каждый звук ее призывной —
Отзывной песнью отвечай!
Когда ж минуты удивленья,
Как сон туманный, пролетят
И тайны вечного творенья
Ясней прочтет спокойный взгляд;
Смирится гордое желанье
Весь мир обнять в единый миг,

И звуки тихих струн твоих
Сольются в стройные созданья.

Не лжив сей голос прорицанья,
И струны верные мои
С тех пор душе не изменяли.
Пою то радость, то печали,
То пыл страстей, то жар любви,
И беглым мыслям простодушно
Вверяюсь в пламени стихов.
Так соловей в тени дубров,
Восторгу краткому послушной,
Когда на долы ляжет тень,
Уныло вечер воспевает
И утром весело встречает
В румяном небе светлый день.

ПОЭТ И ДРУГ

(Элегия)

Друг

Ты в жизни только расцветаешь,
И ясен мир перед тобой, —
Зачем же ты в душе младой
Мечту коварную питаешь?
Кто близок к двери гробовой,
Того уста не пламенеют,
Не так душа его пылка,
В приветах взоры не светлеют,
И так ли жмет его рука?

Поэт

Мой друг! слова твои напрасны.
Не лгут мне чувства — их язык
Я понимать давно привык,
И их пророчества мне ясны.
Душа сказала мне давно:
Ты в мире молнией промчишься!
Тебе все чувствовать дано,
Но жизнью ты не насладишься.

Друг

Не так природы строг завет.
Не презирай ее дарами:
Она на радость юных лет
Дает надежды нам с мечтами.

Ты гордо слышал их привет;
Она желание святое
Сама зажгла в твоей крови
И в грудь для пламенной любви
Вложила сердце молодое.

Поэт

Природа не для всех очей
Покров свой тайный подымает:
Мы все равно читаем в ней,
Но кто, читая, понимает?
Лишь тот, кто с юношеских дней
Был пламенным жрецом искусства,
Кто жизни не щадил для чувства,
Венец мученьями купил,
Над суетой вознесся духом
И сердца трепет жадным слухом,
Как вещий голос, изловил! —
Тому, кто жребий довершил,
Потеря жизни не утрата —
Без страха мир покинет он!
Судьба в дарах своих богата,
И не один у ней закон:
Тому — процвесть развитой силой
И смертью жизни след стереть.
Другому — рано умереть,
Но жить за сумрачной могилой!

Друг

Мой друг! зачем обман питать?
Нет! дважды жизнь нас не лелеет.
Я то люблю, что сердце греет,
Что я своим могу назвать,
Что наслажденье в полной чаше
Нам предлагает каждый день.
А что́ за гробом, то не наше:
Пусть величают нашу тень,
Наш голый остов отрывают,
По воле ветреной мечты
Дают ему лицо, черты
И призрак славой называют!



З. А. ВОЛКОНСКАЯ

Миниатюра Изабей.

1815.

Поэт

Нет, друг мой! славы не брани:
Душа сроднилася с мечтою;
Она надеждою благою
Печали озаряла дни.
Мне сладко верить, что со мною
Не все, не все погибнет вдруг
И что уста мои вещали —
Веселья мимолетный звук...
Напев задумчивой печали
Еще напомнит обо мне,
И сильный стих не раз встревожит
Ум пылкий юноши во сне,
И старец со слезой, быть может,
Труды нелживые прочтет —
Он в них души печать найдет
И молвит слово состраданья:
«Как я люблю его созданья!
Он дышит жаром красоты,
В нем ум и сердце согласились
И мысли полные носились
На легких крылиях мечты.
Как знал он жизнь, как мало жил!»

Сбылись пророчества поэта,
И друг в слезах с началом лета
Его могилу посетил...
Как знал он жизнь! как мало жил!

1827

[ПОСЛЕДНИЕ СТИХИ]

Люби питомца вдохновенья
И гордый ум пред ним склоняй;
Но в чистой жажде наслажденья
Не каждой арфе слух вверяй.
Не много истинных пророков
С печатью власти на челе,
С дарами выспренних уроков,
С глаголом неба на земле.

1827

ПОЭМЫ И ДРАМЫ





ОСВОБОЖДЕНИЕ СКАЛЬДА

(Скандинавская повесть)

Эльмор

Сложи меч тяжелый. Бессильной ли длани
Владеть сим булатом, о мирный певец!
Нам слава в боях, нам опасные брани;
Тебе — сладкозвучного пенья венец.

Эгил

Прости мне, о сын скандинавских царей!
В деснице певца сей булат не бесчестен.
Ты помни, что Рекнер был арфой известен
И храбрым пример среди бранных полей.

Эльмор

Прости, юный скальд, ты певец вдохновенный,
Но если ты хочешь, Эгил, нам вещать
О славе, лишь в битвах тобой обретенной,
То долго и долго ты будешь молчать.

Эгил

Эльмор! иль забыл, что, гордясь багряницей,
Царь скальда обидел и с ближней денницей
Прискорбная мать его, в горьких слезах,
Рыдала над хладною сына гробницей...
Так, с твердостью духа, с угрозой в устах,
Эгил отвечает, — и, быстрой стопою,
Безмолствуя, оба, с киченьем в сердцах,
Сокрылись в дубраве под лиственной тьмою.
Час целый в безмолвии ночи густой
Гремел меч о меч среди рощи глухой.

Обрызганный кровью и весь изнуренный,
Эгил! из дубравы ты вышел один.
О храбрый Эльмор! Тебя тщетно Армин,
В чертогах семьею своей окруженный,
На пир ждет вечерний под кровлей родной.
Тебе уж из чаши не пить круговой.
Без жизни, без славы, твой труп искаженный
Лежит средь дубравы на дерне сухом.
Ты в прах преклонился надменным челом.
Окрест всё молчит, как немая могила,
И смерть скандинавца за скальда отмстила.

Но утром, едва лишь меж сизых паров
Холодная в небе зарделась Аврора,
В дремучей дубраве, при лаянье псов,
Узнали кровавое тело Эльмора.
Узнавши Эльмора черты искаженны,
Незапным ударом Армин пораженный
Не плачет, но грудь раздирает рукой.
Меж тем всё восстало, во граде волненье,
Все ищут убийцы, все требуют мщенья.
«Я знаю, — воскликнул Армин, — Ингисфал
Всегдашнюю злобу к Эльмору питал!
Спешите, спешите постигнуть злодея,
Стремитесь, о други, стремитесь быстрее,
Чем молньи зубчатыя блеск в небесах.
Готовьте орудья ко смерти убийцы.
Меж тем пусть врата неприступной темницы
По нем загремят на чугунных крюках».
И все устремились. Эгил на брегах
У моря скитался печальной стопою.
Как туча, из коей огнистой стрелою,
Перун быстротечный блеснул в небесах,
На крылиях черных с останками бури
Плывет чуть подвижна в небесной лазури, —
Так мрачен Эгил и задумчив блуждал.
Как вдруг перед ним, окруженный толпою,
К чертогам невинный идет Ингисфал.

«Эльмор торжествует, и месть над убийцей!» —
Так в ярости целый народ повторял.

Но скальд, устремившись в толпу, воскликал:
«Народ! он невинен; моею десницей
Погиб среди боя царевич младой.
Но я не убийца, о царь скандинавян!
Твой сын дерзновенный сразился со мной,
Он пал и геройскою смертию славен».

Трепеща от гнева, Армин повелел
В темницу глубокую ввергнуть Эгила.
Невинный свободен, смерть — скальда удел.
Но скальда ни плен не страшит, ни могила,
И тихо, безмолствуя, мощный певец
Идет среди воплей свирепого мщенья.
Идет, — как бы ждал его славный венец
Наградой его сладкозвучного пенья.

«О, горе тебе! — воскликал весь народ, —
О, горе тебе! горе, скальд величавый.
Здесь барды не будут вещать твоей славы.
Как тень, твоя память без шума пройдет,
И с жизнию имя исчезнет злодея».
И тяжко, на вереях медных кружась,
Темницы чугунная дверь заперлась,
И скрып ее слился со свистом Борея.

Итак, он один, без утехи: но нет, —
С ним арфа, в несчастьи подруга драгая.
Эгил, среди мрака темницы бряцая,
Последнею песнью Эльмора поет.
«Счастливец! ты пал среди родины милой,
Твой прах будет тлеть под землею родной,
Во гроб не сошла твоя память с тобой,
И часто над хладной твоею могилой
Придет прослезиться отец твой унылый!
И друг не забудет тебя посещать.
А я погибаю в заре моей жизни,
Вдали от родных и от милой отчизны.
Сестра молодая и нежная мать
Не придут слезами мой гроб орошать.
Прощай, моя арфа, прошли наши пенья.
И скальда младого счастливые дни —

Как быстрые волны промчались они.
И скоро, исполнен ужасного мщенья,
Неистовый варвар мой век пресечет,
И злой скандинавец свирепой рукою
Созвучные струны твои оборвет.
Греми же, греми! разлучаясь с тобою,
Да внемлю последней я песне твоей! —
Я жил и в течение жизни своей
Тобою был счастлив, тобою был славен».

Но барды, свершая обряд скандинавян,
Меж тем начинали суровый напев
И громко гремели средь дикого хора:
«Да гибнет, да гибнет убийца Эльмора!»
В их пламенных взорах неистовый гнев
И все, в круговой съединившись руками,
Эльмора нестройными пели хвалами
И, труп обступивши, ходили кругом.
Уже средь обширного поля близ леса
Огромный и дикий обломок утеса
К убийству певца утвержден алтарем.
Булатна секира лежала на нем,
И возле, ждав жертвы, стояли убийцы.
И вдруг, заскрипевши, глубокой темницы
Отверзлися двери, стремится народ.
Увы! все готово ко смерти Эгила,
Несчастному скальду отверста могила,
Но скальд без боязни ко смерти идет.
Ни вопли народа, кипящего мщеньем,
Ни грозная сталь, ни алтарь, ни костер
Певца не колеблют, лишь он с отвращеньем
Внимает, как бардов неистовый хор
Гремит, недостойным Эльмора, хваленьем.
«О царь! — восклицал вдохновенный Эгил, —
Позволь, чтоб, прощаяся с миром и пеньем,
Пред смертью я песни свои повторил
И тихо прославил на арфе согласной
Эльмора, которого в битве несчастной
Сразил я, но так, как героя сразил».
Он рек; но при имени сына Эльмора
От ярости сердце царя потряслось.

Воззрев на Эгила с свирепостью взора,
Уже произнес он... Как вдруг раздалось
Унылое, нежное арфы звучанье.
Армин при гармонии струн онемел,
Шумящей толпе он умолкнуть велел,
И целый народ стал в немом ожиданье.
Певец наклонился на дикой утес,
Взял верную арфу, подругу в печали,
И персты его по струнам заиграли,
И ветр его песню в долине разнес.

«Где храбрый юноша, который
Врагов отчизны отражал
И край отцов, родные горы
Могучей мышцей защищал?
Эльмор, никем не побежденный,
Ты пал, тебя уж боле нет.
Ты пал — как сильный волк падет,
Бессильным пастырем сраженный.

Где дни, когда к войне кровавой,
Герой, дружины ты водил,
И возвращался к Эльве с славой,
И с Эльвой счастие делил?
Ах, скоро трепетной девице
Слезами матерь возвестит,
Что верный друг ее лежит
В сырой земле, в немой гробнице.

Но сильных чтят благие боги,
И он на крыльях облаков
Пронесся в горные чертоги,
Геройских жительство духов.
А я вдоль таинственного брега,
Ночным туманом окружен,
Всегда скитаться осужден
Под хладными волнами Лега[1].

[1] Остров Лего был, по мнению каледонцев, местом пребывания всех умерших, не воспетых бардами. *(Прим. Д. Веневитинова.)*

О скальд, какой враждебный бог
Среди отчаянного боя
Тебе невидимо помог
Сразить отважного героя
И управлял рукой твоей?
Ты победил судьбой жестокой.
Увы! от родины далеко
Могила будет твой трофей!

Уже я вижу пред собою,
Я вижу алчущую смерть,
Готову над моей главою
Ужасную косу простерть,
Уже железною рукою
Она меня во гроб влечет.
Прощай, прощай, красивый свет,
Навеки расстаюсь с тобою,

А ты, игривый ветерок,
Лети к возлюбленной отчизне,
Скажи родным, что лютый рок
Велел певцу расстаться с жизнью
Далеко от страны родной!
Но что пред смертью, погибая,
Он пел, о них воспоминая,
И к ним перелетал душой.

Уже настал мой час последний.
Приди, убийца, я готов.
Приди, рази, пусть труп мой бледный
Падет пред взорами врагов.
Пусть мак с травою ароматной
Растут могилы вкруг моей.
А ты, сын севера, над ней
Шуми прохладою приятной».

Умолкнул, но долго и сами собой
Прелестной гармонией струны звучали,
И медленно в поле исчез глас печали.
Армин, вне себя, с наклоненной главой

Безмолвен сидел средь толпы изумленной —
Но вдруг, как от долгого сна пробужденный:
«О скальд! что за песнь? что за сладостный глас? —
Всклицал он. — Какая волшебная сила
Мне нежные чувства незапно внушила?
Он пел — и во мне гнев ужасный погас.
Он пел — и жестокое сердце потряс.
Он пел — и его сладкозвучное пенье,
Казалось, мою утоляло печаль.
О скальд... О Эльмор мой... нет. Мщение, мщенье!
Убийца! возьми смертоносную сталь..
Низвергни алтарь... пусть родные Эгила
Счастливее будут, чем горький отец.
Иди. Ты свободен, волшебный певец».
И с радостным воплем толпа повторила:
«Свободен певец!» Благодарный Эгил
Десницу Армина слезами омыл
И пред благодетелем пал умиленный.

Эгил возвратился на берег родной,
Куда с нетерпеньем, под кровлей смиренной,
Ждала его мать с молодою сестрой.
Унылый, терзаемый памятью злою,
Он проклял свой меч и сокрыл под скалою.
Когда же, задумчив, вечерней порой,
Певец любовался волнением моря,
Унылая тень молодого Эльмора
Являлась ему на туманных брегах.
Но лишь на востоке краснела Аврора,
Сей призрак, как сон, исчезал в облаках.

ЕВПРАКСИЯ

(Поэма)

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Шуми, Осетр! Твой брег украшен
Делами славной старины;
Ты роешь камни мшистых башен
И древней твердые стены,
Обросшей давнею травою.
Но кто над светлою рекою
Разбросил груды кирпичей,
Остатки древних укреплений,
Развалины минувших дней?
Иль для грядущих поколений
Как памятник стоят оне
Воинских, громких приключений?
Так, — брань пылала в сей стране;
Но бранных нет уже: могила
Могучих с слабыми сравнила.
На поле битв — глубокий сон.
Прошло победы ликованье,
Умолкнул побежденных стон;
Одно лишь темное преданье
Вещает о делах веков
И веет вкруг немых гробов.

Вдали, там, где в тени густой,
Во мгле таинственной дубравы
Осетр поток скрывает свой,
Ты зришь ли холм сей величавый,

Который на краю долин,
Как одинокий исполин,
Возносится главой высокой?
Сей холм был долго знаменит.
Преданье древнее гласит,
Что в мраке старины глубокой
Он был Перуну посвящен,
Что всякий раз, как злак рождался —
И дол соседний улыбался,
В одежде новой облечен.
Едва ж с костров волною черной
Взносился дым к лазури горной, —
Вдруг гром в бесшумных небесах
При блике молний раздавался,
Осетр ревел в своих брегах,
И лес со треском колебался,
И в лесе трепетали ветки,
Теснилися со всех сторон.
Сюда стекались наши предки.
Есть даже слух, что здесь славяне
По возвращеньи с лютых браней
На алтарях своих богов
Ударом суеверной стали
Несчастных пленных лили кровь
Иль пламени их предавали
И в хладнокровной тишине
На их терзания взирали.
И если верить старине...

Взгляни, как новое светило,
Грозя пылающим хвостом,
Поля рязански озарило
Зловещим пурпурным лучом.
Небесный свод от метеора
Багровым заревом горит.
Толпа средь княжеского двора
Растет, теснится и шумит;
Младые старцев окружают
И жадно ловят их слова;

Несется разная молва,
Из них иные предвещают
Войну кровавую иль глад;
Другие даже говорят,
Что скоро, к ужасу вселенной,
Раздастся звук трубы священной
И с пламенным мечом в руках
Промчится ангел истребленья.
На лицах суеверный страх,
И с хладным трепетом смятенья
Власы поднялись на челах.

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

В дворце, средь комнаты огромной
С большими сводами, но темной,
Где тускло меж столбов мелькал
Светильник бледный, одинокий
И слабым светом озарял
И лики стен и свод высокий
С изображеньями святых —
Князь Федор, окружен толпою
Бояр и братьев молодых.
Но нет веселия меж них:
В борьбе с тревогою немою,
Глубокой думою томясь,
На длань склонился юный князь.
И на челе его прекрасном
Блуждали мысли, как весной
Блуждают тучи в небе ясном.
За часом длился час, другой;
Князья, бояре все молчали —
Лишь чаши звонкие стучали
И в них шипел кипящий мед.
Но мед, сердец славянских радость,
Душа пиров и враг забот,
Для князя потерял всю сладость,
И Федор без отрады пьет.
В нем сердце к радости остыло,
И пир ему теперь не мил.

Давно ль он с Евпраксией милой
Восторги юности делил?
Ты улетел, восторг счастливый,
И вы, прелестные мечты,
Весенней жизни красоты.
Ах, вы увяли, как средь нивы
На миг блеснувшие цветы!
Зачем, зачем тоске унылой
Младое сердце он отдал?
Давно ли он с супругой милой
Одну лишь радость в жизни знал?
Бывало, братья удалые
Сбирались шумною толпой:
Меж них младая Евпраксия
Была веселости душой,
Потупив очи голубые,
Сидела с ним рука с рукой,
И час вечернего досуга
В беседе дружеского круга,
Как чистый быстрый миг, летел.

Но между тем, как над рекой
Батый готовит войско в бой,
Уже под градскими стенами
Дружины храбрые славян
Стояли стройными рядами.
Священный крест — знак христиан —
Был водружен перед полками.
Уже служитель алтарей
Отпел утешную молитву
И рать благословил на битву.
Двенадцать опытных вождей,
Давно покрытых сединами,
Но сильных в старости своей,
Стоят с готовыми мечами.
За ними юный ряд князей,
Опора веры и свободы.
Здесь зрелся молодой Роман,
Надежда лестная славян,
Достойный сана воеводы.

В блестящем цвете юных лет
Он в княжеский вступал совет
И часто мудростью своею
Рязанских старцев удивлял.
Давно испытанный бронею,
Он в многих битвах уж бывал
И половцев с дружиной верной
Не раз на поле поражал.
Но вождь для воинов примерный,
Князей он негу презирал.
Ему забавы — бранны бури,
И твердый щит — его ночлег.
Вблизи Романа видны Юрий,
Мстислав, Борис и ты, Олег!
Зачем сей юноша красивый,
Дитя по сердцу и летам,
Оставил кров, где он, счастливый,
Ходил беспечно по цветам
Весны безбурной и игривой?
Но он с булатом в юной длани
Летит отчизну защищать
И в первый раз на поле брани
Любовь к свободе показать.

Но грозные татар полки,
Неистовой отваги полны,
Уже вдоль быстрыя реки,
Как шумные несутся волны.
С угрозой дикой на устах
Они готовы в бой кровавый.
Мечи с серебряной оправой
Сверкают в крепких их руках.
Богато убраны их кони —
Не медь и не стальные брони
От копий груди их хранят,
Но тонкие драгие ткани —
Добыча азиатской брани —
На персях хищников блестят.
Батый, их вождь, с булатом в длани
Пред ними на младом коне.

Колчан с пернатыми стрелами
Повешен на его спине,
И шаль богатыми узлами
Играет над его главой.
Взлелеянный среди разбоя,
Но пышной роскоши рукой,
Он друг войны и друг покоя
В дни праздности, в шуму пиров.
Он любит неги наслажденья
И в час веселый упоенья
Охотно празднует любовь.
Но страшен он в жару сраженья,
Когда с улыбкой на устах,
С кинжалом гибельным в зубах,
Как вихрь он на врагов стремится
И в пене конь под ним дымится.
Везде лишь вопли пораженных,
И звон щитов, и блеск мечей...
Ни младости безгрешных дней,
Ни старости седин почтенных
Булат жестокой не щадит.
И вдруг раздался стук копыт.
Отряды конницы славянской
Во весь опор стремятся в бой,
Но первый скачет князь рязанской
Роман, за ним Олег младой
И Евпатий, боярин старый
С седою длинной бородой.
Ударам вслед гремят удары.
Всех пылче юноша Олег.
То с левой стороны, то с правой
Блестит его булат кровавой.
Столь неожиданный набег
Привел моголов в изумленье.
Ужасны суздальцев набеги.
Они летят, татары смяты
И, хладным ужасом объяты,
Бегут, рассеясь по полям.
Напрасно храбрый сын Батыя,
Нагай, противится врагам
И всадников ряды густые

Один стремится удержать.
Толпой бегущих увлеченный,
Он сам невольно мчится вслед...
Так челн средь бури разъяренной
Мгновенно борется с грозой,
Мгновенно ветры презирает,
Но вдруг, умчавшись с быстротой,
Волнам сердитым уступает...

1824

ЗЕМНАЯ УЧАСТЬ ХУДОЖНИКА

(Гёте)

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ПЕРЕД ВОСХОДОМ СОЛНЕЧНЫМ

Художник за своим станком. Он только что поставил на него портрет толстой, дурной собою кокетки.

Художник
(дотронулся кистью и останавливается)

Что за лицо! совсем без выраженья!
Долой! нет более терпенья.

(Снимает портрет.)

Нет! я не отравлю сих сладостных мгновений,
Пока вы нежитесь в объятьях сна,
Предметы милые трудов и попечений,
Малютки, добрая жена!

(Подходит к окну.)

Как щедро льешь ты жизнь, прекрасная денница!
Как юно бьется грудь перед тобой!
Какою сладкою слезой
Туманится моя зеница!

(Ставит на станок картину, представляющую во весь рост Венеру Уранию.)

Небесная! для сердца образ твой —
Как первая улыбка счастья.
Я чувствами, душой могу обнять тебя,
Как радостный жених с восторгом сладострастья.

Я твой создатель; ты моя;
Богиня! ты — я сам, ты более, чем я;
Я твой, владычица вселенной!
И я лишусь тебя! я за металл презренной
Отдам тебя глупцу, чтоб на его стене
Служила ты болтливости надменной
И не напомнила, быть может, обо мне!..

(Он смотрит в комнату, где спят его дети.)

О дети!.. Будь для них богиней пропитанья!
Я понесу тебя к соседу-богачу
И за тебя, предмет очарованья,
На хлеб малюткам получу...
Но он не будет обладать тобою,
Природы радость и душа!
Ты будешь здесь, ты будешь век со мною,
Ты вся во мне: тобой дыша,
Я счастлив, я живу твоею красотою.

Ребенок кричит в комнате.

Художник

О боже!

Жена художника
(просыпается)

Рассвело. Ты встал уже, друг мой!
Сходи ж скорее за водой
Да разведи огонь, чтоб воду вскипятить.
Пора ребенку суп варить.

Художник
(останавливается еще на минуту перед своей картиной)

Небесная!

Старший сын его
(вскочил с постели и босой подбегает к нему)

И я тебе, пожалуй, помогу.

Художник

Кто? Ты!

Сын

Да, я.

Художник

Беги ж за щепками!

Сын

Бегу.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Художник

Кто там стучится у дверей?

Сын

Вчерашний господин с женою.

Художник

(ставит опять на станок отвратительный портрет)

Так за портрет возьмуся поскорей.

Жена

Пиши, и деньги за тобою.

Господин и госпожа входят.

Господин

Вот кстати мы!

Госпожа

А я как дурно ночь спала!

Жена

А как свежи! нельзя не подивиться.

Господин

Что это за картина близ угла?

Художник

Смотрите, как бы вам не запылиться.
(К госпоже.)
Прошу, сударыня, садиться.

Господин
(смотрит на портрет)

Характер-то, характер-то не тот,
Портрет хорош, конечно так,
Но все нельзя сказать никак,
Что это полотно живет.

Художник
(про себя)

Чего он ищет в этой роже?

Господин
(берет картину из угла)

А! вот ваш собственный портрет.

Художник

Он был похож: ему уж десять лет.

Господин

Нет, можно и теперь узнать.

Госпожа
(будто бы взглянув на него)

Похоже.

Господин

Тогда вы были помоложе.

Жена
(подходит с корзиной на руке и говорит тихонько мужу)

Иду на рынок я: дай рубль.

Художник

Да нет его.

Жена

Без денег, милый друг, не купишь ничего.

Художник

Пошла!

Господин

Но ваша кисть теперь смелей.

Художник

Пишу, как пишется: что лучше, что похуже.

Господин
(подходит к станку)

Вот браво! ноздри-то поуже,
Да взгляд, пожалуста, живей!

Художник
(про себя)

О боже мой! что за мученье!

Муза
(невидимо для других подходит к нему)

Уже, мой сын, теряешь ты терпенье?
Но участь смертных всех равна.
Ты говоришь: она дурна!
Зато платить она должна.
Пусть этот сумасброд болтает —
Тебя живой восторг, художник, награждает.
Твой дар не купленный, источник красоты —
Он счастие твое, им утешайся ты.
Поверь: лишь тот знаком с душевным наслажденьем,
Кто приобрел его трудами и терпеньем,
И небо без земли наскучило б богам.
Зачем же ты взываешь к небесам?
Тебе любовь верна, твой сон всегда приятен,
И честью ты богат, хотя ты и не знатен.

АПОФЕОЗА ХУДОЖНИКА

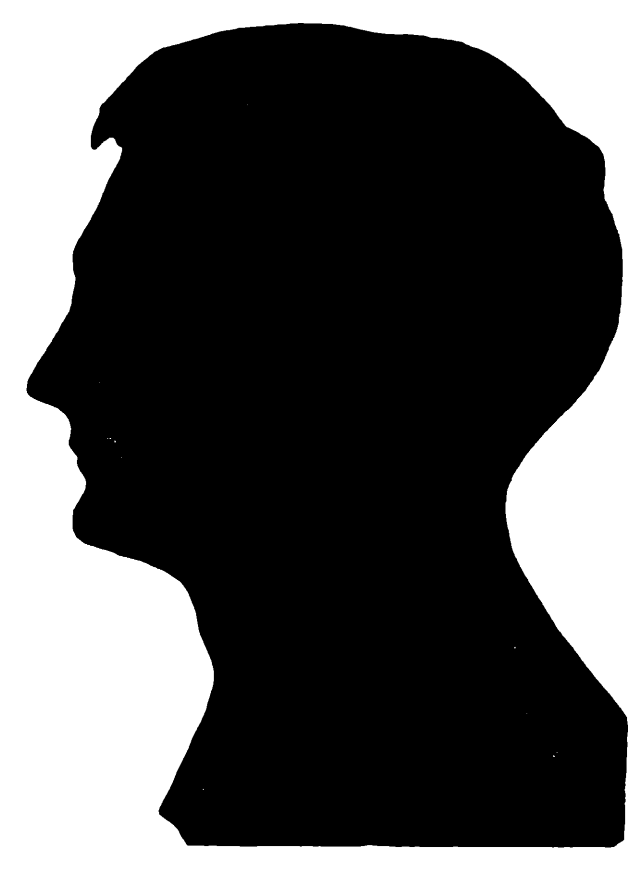
(Гёте)

Театр представляет великолепную картинную галерею. Картины всех школ висят в широких золотых рамах. Много любопытных посетителей. Они ходят взад и вперед. На одной стороне сидит ученик и списывает картину.

Ученик

(встает, кладет на стул палитру и кисть, а сам становится позади стула)

По целым дням я здесь сижу!
Я весь горю, я весь дрожу.
Пишу, мараю, так что сам
Не верю собственным глазам.
Все правила припоминал,
Всё вымерил, всё рассчитал,
И жадно взор гонялся мой
За каждой краской и чертой.
То вдруг кидаю кисть свою;
Как полубешеный встаю
В поту, усталый от труда.
Гляжу туда, гляжу сюда,
С картины не спускаю глаз,
Стою за стулом битый час —
И что же? для беды моей,
Никак я копии своей
Не превращу в оригинал.
Там жизнь холсту художник дал,
Свободой дышит кисть его, —
Здесь все и сухо и мертво.
Везде там живость, страсть видна,
Здесь принужденность лишь одна;



Силуэт Веневитинова
работы Ф. С. Хомякова.
Фототипия.

Что там горит прозрачней дня —
То вяло, грязно у меня.
Я вижу, даром я тружусь
И с жаром вновь за кисть берусь!
Но что́ ужаснее всего,
Что́ верх мученья моего:
Ошибки ясны мне как свет,
А их поправить силы нет.

Мастер

(подходит)

Мой друг, за это похвалю:
Твое старанье я люблю.
Недаром я твержу всегда,
Что нет успеха без труда.
Трудись! запомни мой урок —
Ты сам увидишь в этом прок;
Я это знаю по себе:
Что́ нынче кажется тебе
Непостижимо, высоко,
То нечувствительно, легко
Рождаться будет под рукой;
И, наконец, любезный мой,
Искусство, весь науки плод,
Тебе в пять пальцев перейдет.

Ученик

Увы! как много здесь дурного,
А об ошибках вы ни слова.

Мастер

Кому же все дается вдруг?
Я вижу с радостью, мой друг,
Что с каждым днем твой дар растет.
Ты сам собой пойдешь вперед.
Кой-что со временем поправим,
Но это мы теперь оставим.

(Уходит.)

Ученик
(смотря на картину)

Нет, нет покоя для меня,
Пока не все постигнул я!

Любитель
(подходит к нему)

Мне жалко видеть, сударь мой,
Что вы так трудитесь напрасно,
Идете темною тропой
И позабыли путь прямой:
Натура — вот источник ясный,
Откуда черпать вы должны.
В ней тайны все обнажены:
И жизнь телес и жизнь духов.
Натура — школа мастеров.
Примите ж искренний совет:
Зачем топтать избитый след,
Чтоб быть копистом, наконец?
Натура — вот вам образец!
Одна натура, сударь мой,
Направит вас на путь прямой.

Ученик

Все это часто слышал я,
Все испытала кисть моя.
Я за природою гонялся,
Случайно успевал кой в чем,
Но большей частью возвращался
С укором, мукой и стыдом.
Нет! это труд несовершимый!
Природы книга не по нас:
Ее листы необозримы,
И мелок шрифт для наших глаз.

Любитель
(отворачивается)

Теперь я вижу, в чем секрет:
В нем гения нимало нет.

Ученик

(опять садится)

Совсем не то! хочу опять
Картину всю перемарать.

Другой мастер подходит к нему, смотрит на работу и отворачивается, не сказав ни слова.

Нет! вы не с тем пришли, чтоб молча заглянуть.
Я вас прошу, скажите что-нибудь.
Вы можете одни понять мои мученья.
Хотя мой труд не стоит слов,
Но трудолюбие достойно снисхожденья;
Я верить вам во всем готов.

Мастер

Я, признаюсь, гляжу на все твои старанья
И с чувством радости и с чувством состраданья.
Я вижу: ты, любезный мой,
Природой создан для искусства;
Тебе открыты тайны чувства;
Ты ловишь взором и душой
В прекрасном мире впечатленья;
Ты бы хотел обнять в нем красоту
И кистью приковать к холсту
Его минутные явленья;
Ты прилежанием талант возвысил свой
И быстро ловкою рукой
За мыслью следовать умеешь;
Во многом ты успел и более успеешь —
Но...

Ученик

Не скрывайте ничего.

Мастер

Ты упражнял и глаз и руку,
Но ты не упражнял рассудка своего.
Чтоб быть художником, обдумывай науку!
Без мыслей гений не творит,
И самый редкий ум с одним природным чувством
К высокому едва ли воспарит.

Искусство навсегда останется искусством;
Здесь ощупью нельзя идти вперед,
И только знание к успеху приведет.

Ученик

Я знаю, к красотам природы и картин
Не трудно приучить и глаз и руку,
Не то с наукою; ученый лишь один
Нам может передать науку,
Кто может знанием полезен быть другим,
Не должен бы один им наслаждаться.
Зачем же вам от всех скрываться
И с многими не поделиться им?

Мастер

Нет! в наши времена все любят путь широкий,
Не трудную стезю, не строгие уроки.
Я завсегда одно и то ж пою,
Но всякий ли полюбит песнь мою?

Ученик

Скажите только мне, ошибся ли я в том,
Что перед прочими я выбрал образцом
Сего художника?

(Указывая на картину, которую списывает.)

Что весь живу я в нем?
Что я люблю его, люблю, как бы живого,
Над ним всегда тружусь и не хочу другого.

Мастер

Его чудесный дар и молодость твоя —
Вот что твой выбор извиняет.
Всегда охотно вижу я,
Как смелый юноша свободно рассуждает,
Без меры хвалит, порицает.
Твой идеал, твой образец —
Великий ум, разнообразный гений.
Учися красотам его произведений,
Трудись над ними, — наконец,
Познай ошибки и умей
Любить в творениях искусство, не людей.

Ученик

Его картинами давно уж я пленился.
Поверьте, не проходит дня,
Чтоб я над ними не трудился.
И с каждым днем они все новы для меня.

Мастер

Ты рассмотри с рассудком, беспристрастно,
И чем он был, и чем хотел он быть;
Люби его, но сам учись его судить.
Тогда твой труд не будет труд напрасной.
Обняв науку красоты,
Не все пред ним забудешь ты.
Для добродетели телесной груди мало;
Ужиться ей нельзя в душе одной:
С искусством точно то ж, и никогда, друг мой,
Одна душа его не поглощала.

Ученик

Так я был слеп до этих пор.

Мастер

Теперь оставим разговор.

Смотритель галереи
(подходит к ним)

Какой счастливый день для нас!
Картину к нам внесут тотчас.
Давно на свете я живу,
Но ни во сне, ни наяву
Другой подобной не видал.

Мастер

А чья?

Ученик

Его же?

(Указывает на картину, которую списывал.)

Смотритель

Угадал.

Ученик

Я угадал! мне это
Шепнула тайная любовь.
Какой восторг волнует кровь!
Каким огнем душа согрета!
Куда бежать мне к ней? куда?

Смотритель

Ее сейчас внесут сюда.
Нельзя взглянуть, не подивясь...
Зато не дешево купил ее наш князь.

Продавец
(входит)

Ну, господа! теперь я смею
Поздравить вашу галерею.
Теперь узнает целый свет,
Как князь искусства ободряет:
Он вам картину покупает,
Какой нигде, ручаюсь, нет.
Ее несут уж в галерею.
Мне прямо жаль расстаться с нею.
Я не обманываю вас —
Цена, конечно, дорогая,
Но редкость, господа, такая
Дороже стоит во сто раз.

Тут вносят изображение Венеры Урании и ставят на станок.

Теперь взгляните: вот она!
Без рамки, вся запылена.
Я продаю, как получил,
И даже лаком не покрыл.
Но здесь не нужны украшенья.
Взгляните: вот произведенье!

Все собираются перед картиной.

Первый мастер

Какое мастерство во всем!

Второй мастер

Вот зрелый ум! какой объем!

Ученик

Какою силою чудесной
Бунтует страсть в груди моей!

Любитель

Как натурально! как небесно!

Продавец

Я, словом, всем пленился в ней,
И самой мыслью и работой.

Смотритель

Вот к ней и рама с позолотой!
Скорей! Князь скоро будет сам.
Вбивайте гвозди по углам!

Картину вставляют в раму и вешают.

Князь

(входит в зал и рассматривает картину)

Картина точно превосходна,
И не торгуюсь я в цене.

Казначей кладет кошелек с червонцами на стол и вздыхает.

Продавец

Нельзя ли взвесить?

Казначей

(считая деньги)

Как угодно,

Но лишний труд, поверьте мне.

Князь стоит перед картиною. Прочие в некотором отдалении. Потолок открывается. Муза, держа художника за руку, является на облаке.

Художник

Куда летим? в какой далекий край?

Муза

Взгляни, мой друг, и сам себя узнай!
Упейся счастьем в полной мере.

Художник

Мне душно здесь, в тяжелой атмосфере.

Муза

Твое созданье пред тобой!
Оно все прочие затмило красотой
И здесь, как Сириус меж ясными звездами,
Блестит бессмертными лучами.
Взгляни, мой друг! Сей плод свободы и трудов –
Он твой! он плод твоих счастливейших часов.
Твоя душа в себе его носила
В минуты тихих, чистых дум:
Его зачал твой зрелый ум,
А трудолюбие спокойно довершило.
Взгляни, ученый перед ним
Стоит и скромно наблюдает.
Здесь покровитель муз твой дар благословляет,
Он восхищен творением твоим.
А этот юноша! взгляни, как он пылает!
Какая страсть в душе его младой!
Прочти в очах его желанье:
Вполне испить твое влиянье
И жажду утолить тобой!
Так человек с возвышенной душой
Преходит в поздние века и поколенья.
Ему нельзя свое предназначенье
В пределах жизни совершить:
Он доживает за могилой
И, мертвый, дышит прежней силой,
Свершив конечный свой удел,
Он в жизни слов своих и дел
Путь начинает бесконечной.
Так будешь жить и ты в бессмертье, в славе
вечной!

Художник

Я чувствую все, что мне дал Зевес:
И радость жизни быстротечной

И радость вечную обители небес.
Но он простит мне ропот мой печальной.
Спроси любовника: счастлив ли он,
Когда он с милою подругой разлучен,
Когда она в стране тоскует дальной?
Скажи, что он лишился не всего,
Что тот же свет их озаряет,
Что то же солнце согревает,
И эта мысль утешит ли его?
Пусть славят все мои творенья!
Но в жизни славу знал ли я?
Скажи, небесная моя,
Что мне теперь за утешенье,
Что златом платят за меня?
О, если б иногда имел я сам
Так много золота, как там,
Вокруг картин моих блестит для украшенья!
Когда я в бедности с семейством хлеб делил,
Я счастлив, я доволен был
И не имел другого наслажденья.
Увы! судьба мне не дала
Ни друга, чтоб делить с ним чувства,
Ни покровителя искусства.
До дна я выпил чашу зла.
Лишь изредка хвалы невежды
Гремели мне в глуши монастырей,
Так я трудился без судей
И мир покинул без надежды.
(Указывая на ученика.)
О, если ты для юноши сего
Во мзду заслуг готовишь славу рая,
Молю тебя, подруга неземная,
Здесь на земле не забывай его.
Пока уста дрожат еще лобзаньем,
Пока душа волнуется желаньем,
Да вкусит он вполне твою любовь!
Венок ему на небе уготовь,
Но здесь подай сосуд очарованья,
Без яда слез, без примеси страданья!

ОТРЫВКИ ИЗ «ФАУСТА»

(Гёте)

I

ФАУСТ И ВАГНЕР ЗА ГОРОДОМ.

Фауст

Блажен, кто не отверг надежды
Раздрать покров душевной тьмы!
Во всем, что нужно, мы невежды,
А чтó не нужно, знаем мы.
Но нет! печальными речами
Не отравляй даров небес.
Смотри, как кровли меж древес
Горят вечерними лучами...
Светило к западу течет,
И новый день мы схоронили —
К другим странáм оно придет
И там жизнь новую прольет.
Чтó нет у нас могучих крылий?
За ним, за ним помчался б я;
Зарею б вечною блистали
Передо мной земли края,
Холмы в пожаре бы пылали,
Дремали долы в мирном сне,
И волны золотом играли,
Переливаяся в огне.
Тогда, утесы и вершины,
Вы мне бы не были предел:
Богоподобный, я б летел
Через эфирные равнины,
И скоро б зрел смущенный взгляд,

Как моря жаркие пучины
В заливах зеркалом лежат...
Но солнце к западу скатилось
И вновь желанье пробудилось,
И я стремлю ему вослед,
Меж нощию и днем, меж небом и морями,
Неутомимый свой полет
И упиваюся бессмертными лучами.

Мой друг! прекрасны эти сны...
А солнце скрылось за горою...
Увы! летаем мы мечтою,
Но крылья телу не даны.
И у кого душа в груди не бьется
И, жадная, не рвется от земли,
Когда над ним, невидимый, вдали
Веселый жаворонок вьется
И тонет в зыбях голубых,
По ветру песни рассыпая!
Когда парит орел над высью скал крутых,
Широкие ветрила расстилая,
И через степь, чрез бездны вод
Станица журавлей на родину плывет
К весне полуденного края!..

Вагнер

Признаться, и во мне подчас
Затейливо шалит воображенье:
Но не понятно мне твое стремленье.
На поле, на леса насмотришься как раз;
Мне не завидны крылья птицы,
И то ль веселье для души —
Перелетать листы, страницы
Зимой, в полуночной тиши!
Тогда и ночь как будто бы светлее,
По жилам жизнь бежит теплее...
Недаром иногда пороешься в пыли,
И, право, отрывать случалось
Такой столбец, что сам ты на земли,
А будто небо открывалось.

Фауст

Мой друг! из сильных двух страстей
Одна лишь властвует тобою:
О, не знакомься ты с другою!
Но две души живут в груди моей,
Всегда враждуя меж собою.
Одна, обнявши прах земной,
Сковалась с ним любовию земною,
Другая прочь от персти хладной
Летит в эфир, к обители родной.
Когда меж небом и землею
Витаешь ты, веселый рой духов,
Из недра туч, из радужных паров
Спустись ко мне! за жизнью молодою
Неси меня к другой стране!
О, дайте плащ волшебный мне!
Когда б меня к другому миру
Он дивной силою помчал,
Я бы его не променял
На блеск венца, на царскую порфиру.

Вагнер

Не призывай изведанных врагов:
Их сонм в изгибах облаков
Везде разлился по вселенной
И смертному в вражде неутоленной
Беду несет со всех сторон.
Подует с севера — и острыми зубами,
Как иглами, тебя пронзает он;
С востока налетит — и под его крылами
Иссохнет жизнь в груди твоей.
То с юга, с пламенных степей,
Он зной и огнь скопляет над тобою,
То с запада мгновенно освежит
И вдруг губительной волною
Поля, луга опустошит.
Он внемлет нам, но, обольститель жадный,
Покорствуя, он манит нас к бедам
И, словно ангел, так отрадно
Он ложь нашептывает нам.

II

Песнь Маргариты

Прости, мой покой!
Как камень, в груди
Печаль залегла.
Покой мой, прости!

Где нет его,
Там все мертво!
Мне день не мил
И мир постыл.

О бедная девица!
Что сбылось с тобой?
О бедная девица!
Где рассудок твой?

Прости, мой покой!
Как камень, в груди
Печаль залегла.
Покой мой, прости!

В окно ли гляжу я —
Его я ищу.
Из дома ль иду я —
За ним я иду.

Высок он и ловок;
Величествен взгляд;
Какая улыбка!
Как очи горят!

И речь, как звон
Волшебных струй!
И жар руки!
И что́ за поцелуй!

Прости, мой покой!
Как камень, в груди
Печаль залегла.
Покой мой, прости!

Все тянет меня.
Все тянет к нему.
И душно, и грустно.
Ах, что́ не могу

Обнять его, держать его,
Лобзать его, лобзать
И, умирая, с уст его
Еще лобзанья рвать!

III

МОНОЛОГ ФАУСТА

В пещере

Всевышний дух! ты все, ты все мне дал,
О чем тебя я умолял.
Недаром зрелся мне
Твой лик, сияющий в огне.
Ты дал природу мне, как царство, во владенье;
Ты дал душе моей
Дар чувствовать ее и силу наслажденья.
Другой едва скользит по ней
Холодным взглядом удивленья;
Но я могу в ее таинственную грудь,
Как в сердце друга, заглянуть.
Ты протянул передо мною
Созданий цепь, — я узнаю
В водах, в лесах, под твердью голубою
Одну благую мать, одну ее семью.
Когда бушует ветр в дубраве темной,
И лес качается, и рухнет дуб огромной,
И ветви ближние ломаются, трещат,
И стук и грохот заунывный
В долине будят гул отзывный, —
Ты путь в пещеру кажешь мне,
И там, среди уединенья,
Я вижу новый мир и новые явленья
И созерцаю в тишине
Души чудесные и тайные виденья.

Когда же ветры замолчат
И тихо на полях эфира
Всплывет луна, как светлый вестник мира,
Тогда подъемлется передо мной
Веков туманная завеса,
И с грозных скал, из дремлющего леса
Встают блестящею толпой
Минувшего серебряные тени
И светят в сумраке суровых размышлений.
Но, ах! теперь я испытал,
Что нет для смертных совершенства!
Напрасно я, в мечтах душевного блаженства,
Себя с бессмертными ровнял!
Ты к страшному врагу меня здесь приковал!
Как тень моя, сопутник неотлучной,
Холодной злобою, насмешкою докучной
Он отравил дары небес:
Дыханье слов его сильней твоих чудес.
Он в прах меня унизил предо мною,
Разрушил в миг мир, созданный тобою,
В груди моей зажег он пламень роковой,
Вдохнул любовь к несчастному созданью,
И я стремлюсь несытою душой
В желаньи к счастию и в счастии к желанью.

1826

ПРОЗА





13 АВГУСТ

Если в семнадцать лет ты презираешь сказки, любезная Сонюшка, то назови мое марание повестью или придумай ему другое название. Но прежде всего дай мне написать эту сентенцию:

Tous les contes ne sont pas des fables.

В счастливой стороне (не знаю, право, где) жила мирная чета. Не будем справляться об ее чине и фамилии, тем более что родословные книги об ней, конечно, умалчивают и что тебе в том нужды никакой нет. Только то мне известно, что добрый муж с женою усердно поклонялись богам и ежегодно приносили им в жертву по два лучших баранов из своего стада. Зато боги недолго были глухи к их молитвам и вскоре наградили их добродетель исполнением их желаний. Счастливый отец с восторгом прижал к груди маленькую дочь свою, ребенка прекрасного, и, любуясь ее живыми, голубыми глазами и свежею невинною краскою ее ланит, назвал ее Пленирою и заклал еще двух баранов в честь богам, для того чтоб они ниспослали на дочь его все блага земные.

Боги вторично услышали его молитву, и три жителя или, лучше сказать, три жительницы небесные явились у него с дарами. Одна блистательная, в одежде яркой, казалось, в один миг промчалась чрез все пространство, отделяющее небо от земли. Если б такая же очаровательница прилетела вдруг ко мне в то

время, как я пишу, читаю, мечтаю или наслаждаюсь тем, что италианцы называют: il dolce far niente, или хоть во сне, то по огню, пылающему в ее очах и на ее ланитах, по волшебному легкому, но величественному стану, по длинным светлым локонам, развевающимся в быстроте стремления, по дивному голосу и по пламенным речам, возбужденным одним чувством, я бы недолго остался в недоумении и скоро узнал бы в ней богиню искусств. С небесною улыбкою милости она вручила удивленному отцу драгоценную, звучную арфу для Пленирыь, примолвила, что когда будет семнадцать лет его дочери и когда в первый раз она заиграет на этой арфе, то почувствует всю цену сего подарка, и вдруг исчезла.

Другая, мнилося, сосредоточила в себе все лучи небесных светил. Сквозь тонкую, прозрачную одежду слабые очи смертных не дерзали взирать на пламенный цвет ее тела; все черты лица ее горели огнем, незнакомым для нас, огнем истины. В величественном, быстром и смелом полете своем она, казалось, зажгла вселенную, и яркий свет, разливающийся от нее во все стороны, ослеплял взор. Она держала зеркало, в котором все предметы отражались так же верно, как в сердце еще чистом, и, примолвя, что Пленира в семнадцать лет почувствует всю цену сего подарка, исчезла. После нее в комнате сделалось так темно, что ты подумала бы, милая Сонюшка, что уже настал час ночи, удивилась бы, когда б увидела в окно яркое солнце, которое катилось в ясном небе, в самый полдень.

Третья... Ах, как пленительна она! Нежный, неописуемый стан, покрытый одеждою белою, как снег, скромная и даже неверная походка, самая неопределенность черт лица, выражающих одно гармоническое чувство невинности, таинственность взора, осененного длинными ресницами, сими защитами против испытующих взглядов, все в ней исполняло душу глубоким, очаровательным, неизъяснимым чувством. С алою краскою стыдливости и с улыбкою скромности положила она на Плениру прозрачное, белое покрывало, примолвила, что в семнадцать лет она должна испы-

тать цену сего подарка, и исчезла, как легкий, приятный сон, оставляющий долгое воспоминание.

Я не буду тебе описывать, милая, с какою тщательностью родители старались о воспитании Плениры. Довольно того, что они не щадили никаких стараний, никаких пожертвований для нее, хранили ее, как драгоценный, единственный цветок, блистающий для них на поле жизни, не оставляли ее ни на шаг одну, описали около нее круг, в котором она видела и угадывала одно только доброе, высокое на земле, и из которого в семнадцать лет вылетела бабочка прелестная, с красками свежими, напитанная одним только медом.

С каким нетерпением Пленира ждала решительного дня! Как ей хотелось до времени иметь семнадцать лет, чтобы поскорее насладиться подарками неба. Счастливая! Она не знала, что надежда есть лучшее наслаждение на земле.

Наконец, настало давно ожидаемое время. Плениру поутру нарядили просто; но вся ее одежда так к ней пристала, что ты приняла бы ее за какую-нибудь волшебницу или богиню, слетевшую с неба для того, чтобы обмануть нас собою. В белом легком платье она, казалось, летела, рассекая воздух и не касаясь земли; из прекрасной рамки темнорусых длинных локонов пленительное лицо ее разливало со всех сторон удовольствие, которое она сама чувствовала, и прозрачное покрывало, дар бесценный, небрежно было поднято на лилейном челе.

В этот радостный день родители Плениры созвали своих приятелей и знакомых, чтобы разделить с ними свое счастие. После нескольких забавных игр и веселых речей принесли богатую арфу, на которой Пленира еще никогда не играла, и все в ожидании составили безмолвный круг. Пленира, дыша радостию, с глазами, исполненными огня нетерпения, прислонила к себе арфу, и нежные персты ее покатились по громким струнам. Стройные, величественные звуки остановили внимание всех, и все ожидали, как разрешится волшебная таинственность первого solo. Но когда после нежного, унылого адажио слезы брызнули из глаз, и

когда вдруг раздалась музыка пламенная, быстрая, и восторг одушевил всех, и все желания невольно устремились к чему-то бесконечному, непонятному, и все, и всё исполнилось жизни, то Пленира уже не могла воздержать своей радости. Все черты лица ее были упоены восторгом, в глазах ее горело чувство удовольствия; но то не было довольствие самой себя. Нет. Она восхищалась своими успехами; она радовалась удивлению, возбужденному ею во всех слушателях.

Довольная первым подарком, с любопытством устремилась она в другую комнату к зеркалу, в которое она также еще никогда не смотрела и с которого сдернули завесу. Ах! что увидела она в нем! Какую неизъяснимую красоту, в чертах которой сияла одна радость, один восторг! Пленира не могла отстать от зеркала; она любовалась самой собою, как вдруг покрывало опустилось нечаянно с чела и все закрыло перед ней — и зеркало и прелестное изображение.

Тогда познала она могущество третьей богини. Тайный укор заменил в ней прежнее чувство упоения; пурпур стыдливости зажег ее ланиты, и в раскаянии своем она хотела разбить зеркало и арфу, виновников первого ее негодования на себя; но нежная рука подымает ее покрывало, и Пленира видит перед собою воздушную, прекрасную деву, со взором скромным, с длинною ресницею. «Ты не узнаешь меня, — тихо говорит дева. — Я подарила тебе это покрывало. Познай теперь всю цену моего подарка. Это покрывало скромности. Носи его всегда на себе, и всякий раз, как чувство новое, тебе незнакомое, овладеет твоею душою, вспомни обо мне, вспомни о покрывале скромности». Дева исчезла.

Пленира поклялась никогда не презирать ее подарка. С тех пор как часто играла она на арфе, как часто смотрела в зеркало, и всегда была довольна собою.

Вот конец моего рассказа. Но ты теперь с любопытством спросишь у меня, кто эта Пленира? Любезная Сонюшка, спроси у других; они, верно, угадали.

1825

УТРО, ПОЛДЕНЬ, ВЕЧЕР И НОЧЬ

Кто из нас, друзья мои, не погружался в море минувших столетий? Кто из нас не ускорял полета времени и не мечтал о будущем? Эти два чувства, верные спутники человека в жизни, составляют источник и вместе предмет всех его мыслей. Что нам настоящее? Оно ежеминутно пред нами исчезает, разрушая все надежды, на нем основанные. Между тем мысль о разрушении, об уничтожении так противоречит всем нашим чувствам, так убийственна для врожденной в нас любви к существованию, к устройству, что мы хоть памятью стараемся оживлять былое, вызываем из гроба тех героев человечества, в коих более отразилось чувство жизни и силы, и, с горестью собирая прах их, рассеянный крылами времени, образуем новый мир и обещаем ему бессмертие. С этим миром бессмертия, с этим лучшим из наших упований сливаем мы все понятия о будущем. Этой мысли посвящаем всю жизнь, в ней видим свою цель и награду. Что может быть утешительнее для поэта, который к ней направляет беспредельный полет свой? Что назидательнее для мыслителя, который в ней открывает желание бесконечного, всеобщей гармонии? Не изгоняйте, друзья мои, из области рассудка фантазии, этой волшебницы, которой мы обязаны прелестнейшими минутами в жизни и которая, облекая высокое в свою радужную одежду, не искажает светлого луча истины, но дробит его на

всевозможные цветы. Не то же ли самое делает природа? Но ежели в ней все явления, все причины и действия сливаются в одно целое, в один закон неизменный, — не для того ли созданы все чувства человека, чтоб на богатом древе жизни породить мысль, сей божественный плод, приуготовляемый цветами фантазии?

Приятно с верным понятием о природе обратиться к самой же природе, в ней самой искать выражения для того, что́ она же нам внушила. Все для нас поясняется; всякое явление — эмблема; всякая эмблема — самое целое... Так думал я, пробегая однажды те священные памятники, которые век передает другому и которые, свидетельствуя о жизни и усилиях человечества, возрастают с каждым столетием, и, всегда завещанные потомству, всегда представляют новое развитие. Так думал я, пробегая эту цепь превратностей и разнообразия, в которой каждое звено необходимо, которой направление неизменно. И что же представилось разгоряченной фантазии? Простите ли вы, друзья мои, сон воображения, быть может, слишком любопытного, и потому, быть может, обманутого?

Врата востока открываются пред нами — все в природе с улыбкою встречает первое утро; луч денницы отражается светом и озаряет одно — беспредельное — вселенную. Как пленителен в эту минуту юный житель юной земли; первое его чувство — созерцание, чувство младенческое, всем довольное, ничего не исключающее. Послушаем первую песнь его, песнь восторга безотчетного; она так же проста, так же очаровательна, как первый луч света, как первое чувство любви. Но он простирает руку к светилу, его поразившему, и оно для него недостигаемо. Он подымает взор к небу, душа его горит желанием погрузиться в это ясное море; но оно беспредельным сводом простирается высоко, высоко над его главою. Очарование прекратилось; он изгнан из этого рая, — два серафима, память и желание, с пламенными мечами воздвигаются у завет-

ных врат, и тайный голос произносит неизбежный приговор: «Сам создай мир свой». И все оживилось в фантазии раздраженного человека. Чувства гордости и желание действовать в одно время пробудились в душе его. Он отделяется от природы и везде ищет самого себя. Всякий предмет делается выражением его особенной мысли. Горы, леса, воды — все населяется произведениями его воображения, и обманутое усилие выразиться совершенно везде открывает строгий закон необходимости, слепо управляющий миром.

Настает полдень. Чувствуя в себе силу, чувствуя волю, человек покидает колыбель свою; обманутый надеждой поработить себе природу, он хочет властвовать на земле и обоготворить силу. Стихии для него не страшны, океан — не граница; он любит испытывать себя и ищет противоборника в природе. Каждой страсти воздвигнут алтарь, но и в бури страстей человек не забывает своего высокого предназначения. Небо, утром безмятежное, покрылось в полдень тучами, но природа не узнала тьмы; ибо молния в замену солнца, хотя минутным блеском, рассекала густой мрак.

Все утихает под вечер дня: страсти гаснут в сердце, как следы солнца на небосклоне. Один луч ярким светом брезжит на западе; одно чувство, но сильнейшее, воспламеняет человека. Вечером соловей воспевает любовь в тени дубрав, и песнь любви повторяется во всей природе. Любви жертвует сила своими подвигами. Небо говорит человеку голосом любви; а на земле цветок из рук прекрасной подруги — венец для героя.

Но долго взоры смертного перебегали все предметы... Наконец, усталые вежды сокрыли от него все явления; тишина ночи склонила его ко сну — к воззрению на самого себя. Только теперь душа его свободна. Предметы, пробудившие ее к существованию, быстро не останавливают ее более; они быстро исчезают перед нею, и она созидает свой собственный мир, независимый от того мира, где все ей казалось разноречием. Только теперь познает человек истинную гармо-

нию. Уста его открываются, и он шепчет такие звуки, которые привели бы в трепет младенца, но которые мыслящий старец записал бы в книгу премудрости. О, с каким восторгом пробудится он, когда новый луч денницы воззовет его к новой жизни, — когда, довольный тем, что он нашел в самом себе, он перенесет чувство из мира желаний в мир наслаждения!

1825

СКУЛЬПТУРА, ЖИВОПИСЬ И МУЗЫКА

Откуда слетели вы к нам, божественные девы? не небо ли было вашей колыбелию? и для чего променяли вы жилище красоты и наслаждения на долину желаний и усилий? Ваши пламенные взоры горят огнем неземным. Вы расточаете ласки свои смертным; но черты вашего лица, как бы предназначенного вечной юности, сохранили всю прелесть красоты девственной. Кто вы, небесные, откройтесь. Вы мне уже знакомы; не ваши ли волшебные образы летали предо мною в те счастливые часы, в которые я мечтал о лучшем мире? не вас ли везде ищет мое воображение?

— Мы сестры, — отвечала первая богиня, — и все трое царствуем во вселенной; но не нам принадлежит венец бессмертной славы, — он будет вечно сиять на главе нашей матери. О смертный, ты часто восхищался этим миром, с восторгом взирал на все, тебя окружающее: мы все видимое тобою украсили. Я — старшая из сестер, и меня первую послала мать для того, чтоб оживить вселенную в очах твоих; я указала тебе этот круглой шар, который плывет в воздухе; я вознесла взоры твои на сие небо, которое, как свод, его обнимает; я рассеяла эти горы с утесами, которые, как великаны, возвышаются над долинами; мой искусный резец образовал каждое дерево, каждый лист, каждую жемчужину, сокровенную на глубине раковины.

— Прелестно, — воскликнула вторая богиня, — прелестно было произведение сестры моей, когда я слетела с неба; но взор напрасно искал разнообразия на земле бесцветной. Все было хладно, безжизненно,

как те образы, которые представляют серые тучи в день пасмурный. Я взмахнула поясом, и радуги со всех сторон посыпались на землю, ясное светило загорелось в воздухе, по небу разлилась чистая лазурь, и море отразило небо; долины и леса оделись зеленым цветом, и я, довольная новым миром, возвратилась к престолу нашей матери.

— Тогда и я слетела на землю, — сказала третья богиня; — прелестны были произведения сестер моих; но я напрасно искала в них жизни; ничто не улыбалось мне в природе, мертвая тишина царствовала на земле и стесняла мои чувства; я вздохнула, и вздох мой повторился во вселенной; чувство жизни разлилось повсюду; все огласилось звуками радости, и все эти звуки слились в общую волшебную гармонию.

— С тех пор, — продолжала первая богиня, — с тех пор воздвигнулись три алтаря на земле; я первая встретила смертного и мне первой принес он дары свои. Он был еще странником на новой земле; все поражало его удивлением; все питало в нем то чувство гордости, которое невольно пробуждает первая встреча с незнакомым. Где найду я, говорил он, удовлетворение бесконечным моим желаниям, где найду предмет, достойный моих усилий? Я услышала сетования смертного, и первая внушила ему смелую мысль похитить у бессмертных огонь, дающий жизнь. Я вручила ему резец, и вскоре мрамор оживился под его руками, и человек окружил себя собственным миром. Они еще живы, священные памятники его усилий — его славы. Их не коснулась все истребляющая коса времени. О смертный, стремись туда, где на развалинах столицы мира гений минувшего основал свое владычество и, вызывая из праха протекшие столетия, кажется, посмеивается над настоящим. Вступи в сей храм бессмертный, где герои древности, бледные, как произведения сна, в красноречивом безмолвии возвышаются около стен; вступи в сей храм, когда утренний луч солнца озарит сие величественное сонмище и будет скользить на белом мраморе; тогда ты познаешь мое владычество, и присутствие тайного божества поразит тебя благоговением.

— И мне повиновался смертный, — воскликнула вторая богиня, — и я была его сопутницей! Когда любовь пролила в сердце его свою очаровательную влагу, напрасно силился он резцом сестры моей изобразить предмет своих желаний. Взор его напрасно искал в очах изображения того же неба, которое таилось под ресницами прекрасной его подруги; напрасно искал краски стыдливости на мертвых ланитах мрамора; напрасно хотел он окружить образ возлюбленной очарованием бесконечного, к которому стремилась душа его и в котором являлся ему идеал прекрасной. И что ж? я дала ему кисть, и чувства его вполне вылились на мертвый холст, и мысль о бесконечном сделалась для него понятною. О смертный, хочешь ли видеть небо на земле, взгляни на сию картину, взгляни, когда яркий луч полдня прольет на нее свет свой, — ты невольно падешь на колена и тогда познаешь мое владычество.

— Настало и мое царствование, — промолвила последняя богиня. — Случалось ли тебе в безмолвии ночи слышать волшебные звуки, которые тайною силой увлекают душу, тешат ее надеждою и заставляют забывать все окружающее? Это торжество мое. Ты переносишься тогда в новый мир, ты думаешь быть далеко от земли, и ты в самом себе. В тебя вложила я таинственную арфу, которой струны дрожат при каждом впечатлении и служат как бы дополнением всего, что ты чувствуешь в природе. Не пламенная радость, не улыбка гордости выражают мое владычество: нет! слезы тихого восторга напоминают смертному, что мне покорено его сердце.

— Мой слух прикован к устам вашим, бессмертные богини; но где та, которой вы уготовляете венец славы, где храм, в котором возвышается престол ее, из которого она предписывает законы свои вселенной?

— О смертный! весь мир — престол нашей матери. Ее изображал и мрамор и холст на земле; ее прославляли лиры песнопевцев; но она останется недосягаемою для чувств смертного; наша мать — поэзия; вечность — ее слава; вселенная — ее изображение.

1826

ВЛАДИМИР ПАРЕНСКИЙ

(Главы из романа)

Три эпохи любви переживает сердце, для любви рожденное. Первая любовь чиста, как пламень; она, как пламень, на все равно светит, все равно согревает; сердце нетерпеливо рвется из тесной груди; душа просится наружу; руки все обнимают, и юноша в первом роскошном убранстве весны своей, в первом развитии способностей, пленителен, как младое дерево в ранних листьях и цветах. Как бы ни являлась ему красота, она для него равно прекрасна. Взор его не ищет Венеры Медицейской, когда он изумляется важному зрелищу издыхающего Лаокоона. Холодные слова строгого Омира и теплые напевы чувствительного Петрарки равнозвучны в устах его, и любовница его — одна вселенная. Это — эпоха восторгов.

Настает другая. Душа упилась; взоры устали разбегаться; им надобно успокоиться на одном предмете. Возьмется ли юноша за кисть: не древний Иосиф, не ангел благовеститель рождается под нею, но образ чистой девы одушевляет полотно. Счастлива первая дева, которую он встретит! Какая душа посвящает ей свои восторги! Какою прелестью облекает ее молодое вооображение! Как пламенны о ней песни! Как нежно юноша плачет! Эта эпоха — один миг, но лучший миг в жизни.

Что разочаровывает отрока, когда он разбивает им созданную игрушку? Что разочаровывает поэта, когда он предает огню первые, быть может, самые горячие стихи свои? Что заставляет юношу забыть первый идеал свой, забыть тот образ, в который он вылизал всю душу? Мы недолго любим свои созданья, и при-

рода приковывает нас к действительности. Дорого платит юноша за восторги второй любви своей. Чем более предполагал он в людях, тем мучительней для него теперь их встреча. Он молчалив и задумчив. О, если тогда на другом челе, в других очах прочтет он следы тех же чувств, если он подслушает сердце, бьющееся согласно с его сердцем, — с какою радостью подает он руку существу родному! И как ясно понимают они друг друга! Вот третья эпоха любви: это эпоха дум.

Во второй эпохе, счастливой, но обманчивой, жил Владимир Паренский. Отец его, один из знатнейших панов, известный голосом своим на сеймах, имел богатые владения в южной Польше. Следуя тогдашнему обыкновению, он отправил десятилетнего Владимира в немецкий город Д..., поручив его воспитание старому другу своему, доктору Фриденгейму, который через несколько лет после того сделался начальником Медицинской академии. В скором времени молодой Паренский начал оказывать большие успехи. Шестнадцати лет вступил он в университет и был уже в состоянии следовать за такими уроками, которые требуют внимания напряженного и развитых способностей. Страсть его к познаниям не ограничивалась предметами, необходимыми для образованного человека. Он никогда не пропускал анатомических уроков своего наставника и, хотя не принадлежал к медицинскому факультету, имел, однакож, весьма основательные понятия об этой науке. На семнадцатом году Паренский познакомился с славным Гёте. Это знакомство имело самое благодетельное влияние на образование юноши. При первом свидании Владимир не верил глазам своим. Ему казалось невозможным, чтобы та же комната заключала его и первого поэта времен новейших, чтобы рука, написавшая величайшие произведения ума человеческого, жала его руку. Это чувство понятно не для многих, но оно сильно в тех душах, которые алкают пищи и вдруг видят перед собой расточителя небесной манны. О, если бы великие люди всегда чувствовали свою силу, когда бы они знали, что слово их — слово творческое,

что оно велит быть свету, и свет будет: они, верно бы, никогда не отказывали чистому сердцу юноши в ободрительном приветствии.

Не знаем, Гёте ли посвятил Паренского в таинства поэзии, или уже прежде молодое его воображение говорило стройными звуками; но несомненно то, что величественная простота Гёте уже пленяла Владимира в такие лета, в которые обыкновенно предпочитают ей пламенный, всегда необузданный восторг Шиллера.

Паренский неизвестен как поэт, но германские студенты доныне твердят некоторые его стихотворения, никогда не изданные и доказывающие, что он рожден был поэтом. Десять лет пробыл он в Германии.

Однажды Паренский, по обыкновению своему, бродил без цели по дорожкам сада. Уже следы солнца бледнели на западе и месяц светил на чистом осеннем небе. Владимир не примечал перемен дня. Наконец, усталый от усильного движения, он бросился на дерновую скамью, где за несколько лет перед сим он живо чувствовал прелесть вечера, озаренного луною, и где теперь он, кажется, забывает и минувшее и настоящее. Осенний ветер, предвестник близкой ночи, шумел желтыми листьями, которыми усеяны были дороги; но ветер не мог пробудить Паренского от глубокой задумчивости или, лучше сказать, от глубокого бесчувствия. Он мрачно смотрел пред собою, но взор его был без всякой жизни, без всякого выражения. Вдруг поднял он голову, чувствуя, что кто-то склонился на плечо его.

— Давно, — сказала Бента печальному другу своему, — давно следую я за тобою, несколько раз уже пробежала по следам твоим все дорожки сада, и ты не приметил меня или, может быть, не хотел приметить. Для чего бежишь ты от друзей своих? Мой отец говорит, что он уже тебя почти никогда не видит, а я... но ты опять задумчив, ты хочешь быть один, мой друг! Что может быть страшнее одиночества?

Владимир молчал, как бы не слыша дрожащего голоса Бенты, наконец взглянул на нее с видом удив-

ленья, и две крупные слёзы, блиставшие на щеках девы прекрасной, повторили ему то, чего не слыхал он.

— Милая, — сказал ей тронутый Паренский, — я кажусь тебе странным, может быть жестоким: ты счастлива, не понимая, что могут быть люди, мне подобные, в которых убито все, даже самое чувство.

— Зачем, — воскликнула Бента, — зачем был ты на этом севере, где остыло твое сердце, где лицо твое сделалось суровым, а взор бесчувственным? Для того ли взросли мы вместе, чтобы не понимать друг друга? Кого боишься ты — меня ли? Давно ли есть в твоем сердце тайны, которых я знать не должна? Давно ли знаешь ты такое горе, которого я разделить не могу?

— Давно, — отвечал Паренский, — к несчастью, давно. Мой друг! Я не отравлю твоей жизни, не огорчу тебя несчастною повестью, которая может разочаровать тебя в твоих счастливых заблуждениях. Ты улыбаешься всему в мире — не меняй этой улыбки на змеиный смех горестной досады!

Бента не понимала слов Владимира, но он выговорил их с таким усилием, лицо его так побледнело, что она замолчала и заботливо на него смотрела.

Долго оба безмолвствовали — он от беспорядка мыслей, она от страха или, может быть, от другого чувства, еще сильнейшего. Наконец, Владимир прервал тишину:

— Друг мой! Слыхала ли ты про любовь?

— Слыхала, — отвечала вполголоса робкая дева.

— Страшись этого чувства.

— Отчего?

— Оно... оно меня убило. Там, на этом севере, я знал деву. Она была так же мила, как ты; прости меня, Бента, она была тебя милее...

При этих словах Бента, которая по сих пор лежала на плече Владимира, приподнялась и отодвинулась.

— И где же теперь эта дева? — спросила она.

— Где? не знаю. Она... но у ней щеки не горели этим пурпуром, у ней сердце не билось, как твое.

Бента снова склонилась на плечо юноши.

— Если ты любил, — сказала она, — если ты любишь: можешь ли быть суровым? Чуждаться людей? Ужели она могла не любить тебя?

— Слыхала ли ты, — прервал ее Владимир, — что любовь уносит покой сердца и драгоценнейшее сокровище девы — невинность?

— Слыхала, и не верю. Нет! не могу верить...

Река слез мешала ей говорить более.

— Люби меня, и я буду добрее, — шептала она, рыдая, и бросилась на шею Паренскому.

— Оставь меня! Оставь меня! — говорил он, отталкивая деву. — Беги! ты еще невинна.

— Люби: я буду добрее, — шептал дрожащий голос.

— Беги! — закричал юноша, — ты меня не знаешь. Ты будешь проклинать меня. Я...

— Люби меня! Я твоя навеки. — Бента еще не договорила своих слов, как уже пламенные уста Владимира горели на груди ее. Они упали на скамью...

Не осуждайте их, друзья мои!.. не осуждайте их... Если б мне было можно продлить ваш восторг, счастливцы! Если б мне можно было превратить эту ночь осеннюю в прелестный вечер мая, унылый свист ветра в сладостный голос соловья и окружить вас всею прелестью волшебного очарования! Но хотеть ли вам другого счастья? Любовь — лучшая волшебница. В первый раз в объятиях друг друга, вам более желать нечего. О Бента! Зачем не скончала ты жизни, когда твой друг прижимал тебя так крепко к груди своей? Твое последнее дыхание было бы счастливою песнею. На земле не просыпайся, дева милая! Скоро... неверная мечта взмахнет золотыми крыльями, скоро, слишком скоро слеза восторга заменится слезою раскаяния.

— Нет! Владислав! Этого не могу простить. Подумай сам. Тебе двадцать лет, барону пятьдесят. И ты с ним связываешься! За что? за безделицу: за то, что он вырвал у тебя перчатку сестры моей и отнял случай поднести ее, покраснеть и пролепетать несколько слов. Признаюсь, я служу уж второй год, три раза был секундантом и сам имел две честных разделки, а никогда не находился в таком неприятном положении. Что скажет отец мой, когда узнает завтра, чем дело кончится,

узнает, что ты имел дуэль с бароном, убил его или сам убит? Гроза вся рушится на меня. Опять мне недели на три выговоров и советов.

Так говорил молодой гусар, гр. Любомиров, шагая взад и вперед по комнате и досушая второй стакан пунша. Между тем Владислав сидел, поджавши руки, спиной к дверям и не слушал красноречивого проповедника. Лишь изредка, когда звенел колокольчик и кто-нибудь входил в кондитерскую, задумчивый юноша лениво поворачивал голову, вставал, раз пять без нужды снимал со свечи и колупал воск. Вдруг вынул часы, топнул с досадой ногою и прибавил вполголоса: «Четверть одиннадцатого, а его нет как нет!». Но только что он промолвил эти слова, дверь лавки застучала, колокольчик зазвенел, и в первой комнате раздался пугливый голос.

— Сюда! — закричал гусар, и маленькая шарообразная фигура вошла в гостиную. Это был Франц Лейхен, сорокалетний весельчак, приятель Любомирова, приятель Владислава и едва ли не общий приятель всей столицы.

— Я уже начинал бранить тебя, Франц, — сказал ему Владислав, пожимая его руку.

— К чему такая нетерпеливость? — возразил Лейхен. — Ведь надобно везде успеть. Я угадал вперед. У вас, молодых людей, опять в голове пирушка, и меня, старика, туда же тащите.

— Да! У нас в голове пирушка, — продолжал холодно Владислав, — ты секундант мой.

— Не впервые мне быть твоим секундантом, — закричал с важным хохотом Франц, — не впервые! и признайся, я всегда вторил тебе славно.

— Ты секундант мой, — повторил Владислав, — завтра я дерусь с бароном.

При этих словах круглое лицо Франца начало понемногу вытягиваться, он как испуганный смотрел в глаза Владислава, наконец, повесил голову и сел посреди дивана. Владислав сел против него, а Любомиров, воротясь из другой комнаты с мальчиком и еще

---

[1] Где вы: «Où etes vous, messieurs?» [1] господа? *(франц.)*

двумя стаканами пунша, приподвинул к столу кресла и сел между ними.

— Ты завтра дерешься с бароном? — спросил тихим голосом Лейхен.

— Да, я дерусь с бароном, — отвечал Владислав. — Я давно говорил вам, друзья мои, — продолжал он с улыбкою, — что лицо барона для меня нестерпимо, что я в мире не видал ничего отвратительнее. При первой встрече с ним какой-то злой гений шепнул мне, что он будет врагом моим, и предчувствие сбылось.

— Сбылось! — возразил Любомиров. — Трудно сбываться таким предчувствиям! Ты посадил себе в голову, что тебе надобно быть в ссоре с бароном, на каждом шагу стерег его и, наконец, нашел случай придраться. Есть чему дивиться. Есть где искать шепота злого гения! И что могло тебе досаждать в этом бароне? Он всегда был с тобою учтив и даже ласков...

— Эта учтивость, эта ласка были мне противнее всего на свете. Вчера еще он подошел ко мне, с холодной улыбкой взял меня за руку и стал спрашивать о здоровье. Поверь, голос его заставил меня содрогнуться, как пронзительный визг стекла.

— Как тебе не стыдно! — возразил Любомиров. — С твоим здравым смыслом ты питаешь такие мелкие предрассудки. Послушай, Владислав. Нас здесь только трое, и мы можем говорить искренно. Я, вероятно, угадал тайную причину твоей ненависти и могу доказать, как она ничтожна. Но что я скажу, любезный Лейхен, то будет сказано между нами. Барон шутит, смеется с сестрой моей, и подлинно она еще ребенок, а ты, Владислав...

— Ни слова! — закричал юноша, вскочив с кресел. — Зачем терять время и речи. Все, что мы до сих пор говорили, не объясняет Францу нашего дела, а он до сих пор еще не успел опомниться. Расскажи ему все, что случилось сегодня между бароном и мною, и я уверен, что он не откажет просьбе друга. А мне и так уже надобно говорить об одном и том же; притом не забудьте, что к завтрашнему утру надобно еще выспаться. — При сих словах Владислав пожал обоим друзьям руки, вышел в другую комнату, бросил синюю

ассигнацию на стол кондитера, надвинул шляпу на глаза, закутался в плащ и вышел из лавки.

Ночь была свежа. Осенний ветер вздувал епанчу Владислава. Он шел скоро и минут через пять был уже дома. Полусонный слуга внес к нему свечку и готовился раздевать барина, но Владислав отослал его, под предлогом, что ему надобно писать. И подлинно, он взял лист почтовой бумаги и сел за стол. Долго макал перо в чернильницу, наконец, капнул на лист, с досадою бросил его, вынул другой, раза два прошелся по комнате и сел опять на свое место.

Напрасно тер он лоб, напрасно подымал волосы — он не находил в голове мыслей, или, может быть, слишком много мыслей просилось вдруг на бумагу. Вдруг вынул он перо, опять капнул и остановился.

— Нет! Я не могу писать, — сказал сердито Владислав, вскочив со стула и бросившись на кровать во всем платье. На стуле возле его постели лежал какой-то том Шекспира. Владислав взял его, долго перевертывал листы, наконец положил опять книгу и потушил свечку.

— Вставай, — закричал поутру громкий голос.

Владислав вскочил с постели, протирая глаза, и узнал молодого графа, который, стуча саблей, вошел к нему вместе с Лейхеном.

— Да ты и не ложился? — сказал Любомиров, набивая трубку табаку. — Или ты всю ночь готовился набожно к смерти?

Владислав не отвечал ни слова и продолжал одеваться.

Подвезли коляску; все трое молча уселись.

— Мы забыли пистолеты, — сказал торопливо Владислав, когда они несколько отъехали от дому. Любомиров указал ему на ящик, который стоял под ногами Лейхена, и кучеру велел ехать скорее.

1827

СЦЕНЫ ИЗ «ЭГМОНТА»

(Гёте)

[ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ]

Дворец правительницы

Маргарита Пармская, в охотничьей одежде. Придворные. Пажи. Слуги.

Правительница. Распустите охотников: я сегодня не выезжаю. Скажите Махиавелю, чтоб он пришел ко мне.

Все удаляются.

Мысль об этих ужасных происшествиях не дает мне покоя. Ничто меня не тешит, ничто не рассеет; все те же картины предо мной, все те же заботы. Знаю вперед, король скажет, что это следствие моего добросердечия, моей слабости, а совесть ежеминутно говорит мне, что я сделала все нужное, все лучшее. И что ж было мне делать? Усилить, разнести повсюду этот пламень бурею гнева? Я думала поставить пожару границы и этим потушить его. Так! то, что я повторяю себе самой, то, в чем я убедилась, конечно, в глазах моих меня оправдывает; но брат мой — как примет он такие известия? А можно ли скрыть их? С каждым днем возрастала гордыня пришельцев — учителей; они ругались над нашею святыней, обворожили грубые чувства народа; предали его духу блуждания. Духи нечистые поселились между возмутителями, и что ж? Мы были свидетелями дел ужасных, о которых и думать нельзя без содрогания. Я должна подробно уведомить о них двор — подробно, не теряя времени, — не то предупредит меня всеобщая молва, и король подумает, что мы

от него скрываем еще бо́льшие ужасы. Не вижу никакого средства, ни строгого, ни кроткого, отвратить зло.

Входит Махиавель.

Готовы ли письма к королю?

Махиавель. Чрез час я представлю их вам для подписания.

Правительница. Обстоятельно ли описал ты происшествия?

Махиавель. Подробно и обстоятельно, как любит король. Рассказываю, как сперва в С. Омене открылся гнусный замысел истребить иконы; как бешеные толпы с палками, топорами, молотами, лестницами, веревками, сопровождаемые немногими вооруженными людьми, нападали на часовни, на церкви и монастыри, разгоняли молельщиков, выламывали ворота, опрокидывали алтари, разбивали святые лики, обдирали иконы, ловили, рвали, топтали все, принадлежащее к святыне; как между тем возрастало число бунтующих, и жители Иперна открыли им ворота города; как они с неимоверной быстротою опустошили соборную церковь и сожгли библиотеку епископа; как потом многочисленная толпа народа, влекомая тем же безумием, устремилась на Менин, Коминес, Фервик, Лилль, нигде не встречая сопротивления, и как в одно мгновение почти во всей Фландрии обнаружился и исполнился ужаснейший заговор.

Правительница. Ах! описание твое возобновило все мое горе! К тому же мучит меня и страх, что зло будет возрастать более и более. Скажи, Махиавель, что ты думаешь?

Махиавель. Извините, ваше высочество: мои мысли так похожи на бред. Вы всегда были довольны моими услугами, но весьма редко следовали моим советам. Часто говорили вы мне в шутку: «Ты слишком смотришь вдаль, Махиавель. Тебе быть бы историком. Кто действует, тот заботится только о настоящем». И что ж? Не предвидел ли я, не предсказывал ли всех этих ужасов?

Правительница. Я тоже многое предвижу и не нахожу способа отвратить зло. О, мы, повелители!

Что́ мы на волне человечества? Мы думаем управлять ею, а она нас уносит, она нас качает во все стороны.

Махиавель. Одним словом: вам не подавить нового учения. Не гоните его приверженцев, отделите их от правоверных, дайте им церкви, примите их в число граждан, ограничьте права их, и таким образом вы одним разом усмирите возмутителей. Все прочие средства будут напрасны, и вы без пользы опустошите землю.

Правительница. Разве ты забыл, в какое негодование привел брата моего один вопрос: можно ли терпеть новое учение? Ты знаешь, что он в каждом письме поручает мне всеми силами поддерживать истинное вероисповедание? Что он не хочет приобрести спокойствие и согласие на счет религии. Разве в провинциях у него нет шпионов, которых мы совсем не знаем и которые разыскивают, кто именно склоняется к новым мнениям? Не изумлял ли он нас часто, открывая нам внезапно, что люди, к нам близкие, тайно приставали к ереси? Не приказывал ли он мне быть строгою, непреклонною? А я буду употреблять меры кротости? Я буду советовать ему терпеть, миловать? Не лучший ли это способ лишиться его доверенности?

Махиавель. Я очень знаю, король приказывает, король сообщает вам свои намерения. Вы должны восстановить мир и тишину такими средствами, которые еще более ожесточат умы и зажгут неизбежно войну повсеместную. Подумайте о том, что вы делаете. Купечество заражено; дворянство, народ, солдаты — также. К чему упорствовать в своих мыслях, когда все вокруг нас изменяется? Ах! если бы добрый гений шепнул Филиппу, что королю приличнее управлять подданными двух различных вероисповеданий, нежели одну половину царства истреблять другою!

Правительница. Вперед чтоб я этого не слыхала! Я знаю, что политика редко согласуется с правилами веры и честности, что она изгоняет из сердца откровенность, добродушие и кротость. Дела светские, к несчастию, слишком ясно доказывают эту истину. Но неужели мы должны играть богом, как играем друг

другом? Неужели мы должны быть равнодушны к истинному учению предков, за которое столь многие жертвовали жизнью? И это учение променяем мы на чужие, неверные нововведения, которые сами себе противоречат?

Махиавель. По этим словам не сомневайтесь в моих правилах.

Правительница. Я знаю тебя, знаю твою верность и знаю, что человек может быть и честен и благоразумен, забывая иногда ближайшую дорогу ко спасению души своей. Не ты один, Махиавель, есть еще и другие, которых я должна любить и порицать.

Махиавель. На кого намекаете вы мне?

Правительница. Признаюсь тебе, Эгмонт чрезвычайно огорчил меня сегодня.

Махиавель. Чем же?

Правительница. Чем? Обыкновенно чем: своею холодностью, своим легкомыслием. Я получила ужасное известие в то самое время, как выходила из церкви, сопровождаемая многими и в том числе Эгмонтом. Я не могла владеть своей печалию, не могла скрыть ее и громко сказала, обращаясь к нему: вот что происходит в вашей провинции! и вы это терпите, граф! вы, на которого король полагал всю свою надежду?

Махиавель. И что же отвечал он?

Правительница. Он отвечал мне, как будто бы я говорила о безделице, о деле постороннем. — Лишь бы нидерландцы не боялись за свои права, все прочее придет само собою в порядок.

Махиавель. Быть может, в этих словах более истины, нежели приличия и благочестия. Может ли существовать доверенность, когда нидерландец видит, что дело идет более об его имуществе, нежели об истинном его благе, о спасении души его? Все эти новые епископы спасли ли столько душ, сколько ограбили жителей? Не все ли почти они иноземцы? По сих пор места штатгальтерские заняты еще нидерландцами, но не ясно ли видно, что ненасытные испанцы алкают завладеть сими местами? Не лучше ли народу видеть в правителе своего же соотечественника, верного родным обычаям, или иноземца, который наперед старается

разбогатеть на счет других, все мерит своим чужестранным аршином и господствует без приязни, без участия к своим подданным?

Правительница. Ты стоишь за наших противников.

Махиавель. Нет! по сердцу, конечно, не за них. Я бы желал, чтоб и рассудок был совершенно за нас.

Правительница. Если так, то мне бы должно уступить им правление. Эгмонт и Оранский очень тешились надеждою занять мое место. Тогда были они противники; теперь они заодно против меня; они стали друзья, друзья неразрывные.

Махиавель. И друзья опасные.

Правительница. Сказать тебе откровенно? Я боюсь Оранского и боюсь за Эгмонта. Недоброе замышляет Оранский; мысли его всегда устремлены вдаль; он скрытен, на все, кажется, согласен, никогда не противоречит и с видом глубокой почтительности, с величайшей осторожностью всегда делает все, что хочет.

Махиавель. Эгмонт, напротив, действует свободно, как будто бы весь мир ему принадлежит.

Правительница. Он так высоко носит голову, как будто бы не висела над ним рука царская.

Махиавель. Внимание всего народа обращено на него: он покорил себе сердца всех.

Правительница. Никогда не боялся он навлечь на себя подозрение, как будто уже некому требовать от него отчета. До сих пор носит он имя Эгмонта; ему приятно называться Эгмонтом, как будто не хочет забыть, что предки его были владетелями Гельдерна. Зачем не называется он принцем Гаврским, как ему следует? Зачем это? Или он хочет восстановить права забытые?

Махиавель. Я считаю его верным слугою короля.

Правительница. О! если б он только хотел, как легко мог бы он заслужить благодарность правительства, вместо того чтобы так часто огорчать нас до крайности без всякой собственной пользы. Его сборища, его пиры и празднества связали, сроднили дворян между собой теснее, нежели опаснейшие тайные об-

щества. Вино, которое лилось у него за здравие, надолго вскружило головы гостям, и пары его никогда не рассеются. Как часто своими шутками приводил он в движение умы народа, и мало ли удивлялась толпа новым его ливреям и нелепым одеждам его прислужников?

Махиавель. Я уверен, что все это было без намерения.

Правительница. Это и несчастно. Опять повторяю: он нам вредит, а себе пользы не приносит. Он дела важные почитает шутками, а мы, чтоб не казаться праздными и слабыми, мы должны самые шутки считать делами важными. Таким образом, одно возбуждает другое, и то, что стараешься отвратить, то именно делается неизбежным. Он опаснее, нежели иной решительный глава заговора. И я почти уверена, что при дворе уже во всем его подозревали. Признаюсь откровенно: мало проходит времени, чтоб он меня не огорчал до крайности.

Махиавель. Мне кажется, он во всем действует по своей совести.

Правительница. Совесть его все показывает ему в зеркале обманчивом. Поведение его часто обидно. Он часто ведет себя как человек, который совершенно уверен в превосходстве своей силы, и только из снисхождения не дает нам ее чувствовать, не хочет прямо выгнать нас из государства, и потому старается все сладить мирным образом.

Махиавель. Нет! его искренность, его счастливый характер, который легко судит о самых важных делах, не так опасны, как вы воображаете. Вы этим только вредите и ему и себе.

Правительница. Я ничего не воображаю. Говорю только о следствиях неизбежных, и знаю его. Звание нидерландского дворянина, орден Золотого Руна на груди, — вот что усиливает его самоуверенность, его смелость. Оба сии преимущества могут служить ему защитою против прихоти и гнева царя. Разбери внимательно: не он ли один виновник всех несчастий, которые теперь постигли Фландрию? Он с самого начала не преследовал лжеучителей, не обращал на них внимания; он, быть может, тайно и радовался, что

нам готовятся новые заботы. Постой, постой: все, что лежит на сердце, все выльют я наружу при этом случае. Не даром пущу я стрелу: я знаю его слабую сторону, и он умеет чувствовать.

Махиавель. Созвали ли вы совет? Будет ли и Оранский?

Правительница. Я послала за ним в Антверпен. Сложу, сложу на их плечи все бремя отчета; пусть они вместе со мною деятельно воспротивятся злу или также подымут знамя возмущения. Иди докончи скорее письма, и я подпишу их; тогда ты немедля отправишь Васку в Мадрид; Васка на деле доказал свою неутомимость, свою преданность. Пусть брат мой через него получит фландрские известия, прежде нежели они дойдут до него молвою. Я сама хочу видеть его до его отъезда.

Махиавель. Ваши приказания будут исполнены скоро и точно.

Мещанский дом

Клара, мать ее, Бракенбург.

Клара. Что же, Бракенбург? Ты не хочешь подержать мне моток?

Бракенбург. Пожалуйста, избавь меня от этого, милая Клара.

Клара. Что с ним опять сделалось? за что отказывать мне в маленькой услуге, когда прошу тебя из дружбы?

Бракенбург. Я как вкопанный должен стоять перед тобой с нитками так, что от взглядов твоих нет спасенья.

Клара. Экой бред! держи, держи.

Мать *(сидя в кресле и продолжая вязать чулок)*. Спойте же что-нибудь. Бракенбург так мило подпевает. Бывало, вы всегда так веселы, и мне всегда есть чему посмеяться.

Бракенбург. Бывало.

Клара. Ну, давай петь.

Бракенбург. Что хочешь?

Клара. Но только живее. Споем солдатскую песенку, мою любимую. *(Она мотает нитки и поет вместе с Бракенбургом.)*

Стучат барабаны,
Свисток заиграл;
С дружиною бранной
Мой друг поскакал!
Он скачет, качает
Большое копье...
С ним сердце мое!..
Ах, что я не воин!
Что нет у меня
Копья и коня!
За ним бы помчалась
В далеки края
И с ним бы сражалась
Без трепета я!
Враги пошатнулись
За ними вослед...
Пощады им нет!..
О смелый мужчина!
Кто равен тебе
В счастливой судьбе!

Бракенбург в продолжение песни несколько раз взглядывал на Клару. Наконец, голос его задрожал, глаза залились слезами; он роняет моток и подходит к окошку. Клара одна допевает песню. Мать с досадою делает ей знак; она встает, приближается на несколько шагов к Бракенбургу, но возвращается в нерешимости и садится.

Мать. Что там за шум на улице, Бракенбург? Мне слышится, будто идут войска.

Бракенбург. Лейб-гвардия правительницы.

Клара. В эту пору! Что это значит? Нет! это не вседневное число солдат; тут их гораздо больше! Почти все полки. Ах, Бракенбург! поди послушай, что там делается. Верно, что-нибудь необыкновенное. Поди, мой милый; поди, пожалуйста.

Бракенбург. Иду и тотчас ворочусь. *(Уходя, протягивает ей руку, она подает ему свою.)*

Мать. Ты опять его отсылаешь?

Клара. Я любопытна. И притом, признаюсь вам, меня мучит его присутствие. Я не знаю, как с ним обращаться. Я перед ним виновата, и мне больно

видеть, что он это так живо чувствует. А мне что делать? как беде помочь?

Мать. Он такой верный малой.

Клара. Я также не могу отвыкнуть дружески встречать его. Рука моя сама собою сжимается, когда он тихо кладет в нее свою руку. Я сама браню себя за то, что его обманываю, что питаю в сердце его надежду напрасную. Мученье мне, мученье! Клянусь богом, я его не обманываю, я не хочу, чтоб он надеялся, и не могу, однакож, видеть его в отчаянии.

Мать. Не хорошо, не хорошо.

Клара. Я любила его и по сих пор желаю ему добра от всей души. Я бы согласилась выйти за него замуж, а кажется, никогда влюблена в него не была.

Мать. Ты могла бы с ним быть счастлива.

Клара. То есть, без забот могла бы жить покойно.

Мать. И все это прогуляла ты по своей собственной вине.

Клара. Я нахожусь в странном положении. Когда мне придет в голову спросить себя, как все это сделалось; я хоть и знаю, да не понимаю, а взгляну только на Эгмонта — и все становится мне понятным. Ох! при нем для меня и не это одно понятно. Что за человек! Он бог в глазах всех провинций; а мне в объятиях его не считаться счастливейшим созданием в мире!

Мать. Что-то готовит будущее?

Клара. Ах! у меня только одна забота: любит ли он меня. А мне ли это спрашивать?

Мать. От детей только и наживешь что хлопот да горе. Чем это-то кончится? Все тоска да тоска. Нет! не добром это кончится! Ты и себя и меня сделала несчастною.

Клара *(хладнокровно)*. Сначала вы сами позволяли.

Мать. К несчастию, я была слишком добра, я всегда слишком добра.

Клара. Когда, бывало, Эгмонт едет мимо нас, а я побегу к окну, бранили ли вы меня? Не подходили ли сами к окну? И когда он смотрел на нас, улыбался, махал мне рукою и кланялся, гневались ли вы? Не сами ли радовались, что дочка дожила до такой чести?

М а т ь. Упрекай еще, мне кстати.

К л а р а *(с чувством)*. Когда он стал чаще проезжать нашей улицей и мы очень чувствовали, что он это делал для меня, не сами ли вы это заметили с тайной радостью? Вы не запрещали мне стоять у окна и поджидать его.

М а т ь. Могла ли я думать, что шалость завлечет тебя так далеко.

К л а р а *(дрожащим голосом, но удерживая слезы)*. А помните, вечерком, как он вдруг явился весь закутан в епанче и застал нас за столом у ночника: кто принял его, когда я сидела без памяти и как бы прикованная к стулу?

М а т ь. Могла ли я бояться, что умная моя Клара так скоро предастся этой несчастной любви? Теперь должно терпеть, чтобы дочь моя...

К л а р а *(заливаясь слезами)*. Матушка! Вы хотите терзать меня! вы радуетесь моему мучению.

М а т ь *(плачет)*. Плачь еще, плачь! Огорчай меня еще более своим отчаянием! И так уж мне тоски довольно. И так довольно прискорбно видеть, что дочь моя, дочь единственная, всеми отвержена.

К л а р а *(вставая и холодно)*. Отвержена! любовница Эгмонтова отвержена! Какая женщина не позавидует участи бедной Клары! Ах, матушка, любезная матушка! вы никогда так не говорили. Успокойтесь, матушка, примиритесь со мною... Что говорит народ? Что шепчут соседки?.. Нет! эта комнатка, этот домик — они стали раем с тех пор, как обитает в них любовь Эгмонтова.

М а т ь. Его нельзя не любить. Это правда. Он всегда так приветлив, так открыт и свободен.

К л а р а. В его жилах нет ни капли нечистой крови. Подумайте сами, матушка. Эгмонт велик и славен; а когда ко мне придет — он так мил, так добросердечен. Он всем бы мне пожертвовал — и чином своим и храбростию. Он мною так занят! Он тут просто человек, просто друг, ах! просто любовник.

М а т ь. Сегодня будет ли он?

К л а р а. Разве вы не заметили, как я часто подбегаю к окошку? Как вслушиваюсь, когда что-нибудь

зашумит за дверью? Хотя и знаю я, что он до ночи не приходит, однакож всякую минуту жду его с самого утра — как только встану. Зачем я не мальчик? Я всегда бы с ним ходила — и при дворе и везде! И в сражении я понесла бы за ним знамя.

Мать. Ты всегда была вертушкой. Бывало, еще ребенком, то резва без памяти, то задумчива. Неужели ты не оденешься немного получше?

Клара. Может статься, матушка. Если мне будет скучно, то оденусь. Вчера — подумайте — прошло несколько из его солдатов: они пели ему похвальные песни. По крайней мере они в песнях поминали его имя; прочего я не поняла. Сердце у меня так и рвалось из груди; и если бы не стыд остановил, я бы охотно их воротила.

Мать. Смотри, остерегайся. Твое пламенное сердце тебя погубит. Ты явно изобличаешь себя перед честными людьми. Как намедни у дяди — увидела картинку с описанием и вдруг закричала: «Граф Эгмонт!» Я вся покраснела.

Клара. Как мне не вскрикнуть! Это было Гравелингенское сражение! Вверху на картинке вижу букву С; ищу С в описании, и что же? там написано: «Граф Эгмонт, под которым убита лошадь». Я обмерла, но потом невольно рассмеялась, как увидела напечатанного Эгмонта, который ростом с башню Гравелингенскую и не меньше английских кораблей, представленных в стороне. Когда я вспомню, как, бывало, я представляла себе сражение и как воображала себе графа Эгмонта в то время, как вы рассказывали о нем и прочих графах и князьях; когда вспомню и сравню эти картины с нынешними своими чувствами...

Бракенбург входит.

Что нового?

Бракенбург. Никто ничего не знает верного. Говорят, что во Фландрии было недавно возмущение и что правительница должна смотреть, как бы и здесь оно не распространилось. Замок окружен войсками; у ворот толпятся граждане; улицы кипят народом. Поспешу к старику своему, к отцу. *(Будто хочет идти.)*

Клара. Завтра увидим тебя? Я хочу немного луч-

ше одеться. К нам будет дядя, а я так неопрятна. Матушка, помогите мне на минуту. Возьми с собою книгу, Бракенбург, и принеси мне еще такую же повесть.

Мать. Прощай.

Бракенбург *(подавая руку Кларе)*. Ручку.

Клара *(отказываясь)*. Когда воротишься.

Мать уходит с дочерью.

Бракенбург *(один)*. Решился тотчас же идти; но она на это согласна, она равнодушно отпускает, и я готов взбеситься. Несчастный! И тебя не трогает судьба отечества! Ты хладнокровно видишь возрастающий мятеж! Для тебя все равно, что испанец, что земляк, что власть, что право? Таков ли я был мальчиком в училище? Когда нам задали написать «речь Брута о свободе, для упражнения в красноречии», кто был первый, как не Фриц! и что же сказал ректор? — «Если бы только больше было порядка, да не так все перемешано». Тогда сердце кипело и рвалось. Теперь волочусь за этой девушкой, как будто прикован к глазам ее. И не могу ее оставить! И не может она любить меня. Ах! нет! и не совсем она меня разлюбила! Как не совсем? Нисколько, нисколько не разлюбила! Она все та же... И все пустое. Долее не стерплю, не могу терпеть. Или поверить тому, что шепнул мне на днях приятель? — что она ночью впускает к себе мужчину, она, которая всегда выгоняет меня из дому, как только начнет смеркаться. Нет! это ложь, ложь постыдная, проклятая. Клара моя так же невинна, как я несчастлив. Она разлюбила меня; для меня нет места в ее сердце. И мне влачить такую жизнь! Я сказал, не стану, не могу терпеть долее. Отечество мое беспрерывно раздирают междоусобные войны, а я... буду смотреть, как полумертвый, на эти раздоры? Нет, я не стерплю. Когда зазвучит труба, когда раздастся выстрел, по мне пробежит холодная дрожь. И меня не тянет лететь своим на помощь, заодно с ними броситься в опасности! Несчастное, позорное состояние! Лучше умереть разом! Давно ли бросился я в воду? пошел ко дну, и что же? природа со своим страхом одержала верх, я чувствовал,

что могу плыть, и спасся нехотя. Если бы мог я хоть забыть то время, в которое она меня любила, или тешила любовью! Зачем это счастие врезалось в сердце, врезалось в память? Зачем эти надежды, указывая на отдаленный рай, отравили для меня все наслаждения жизни? А первый поцелуй? Ах! первый и последний! Здесь... *(положив руку на стол)* здесь сидели мы одни. Она всегда была ко мне ласкова. Тут показалось, что она была нежнее обыкновенного. Взглянула на меня — все около меня закружилось, и я чувствовал, что губы ее горели на моих. А теперь... теперь? Умри, несчастный! к чему страх и сомнения? *(Вынимает из кармана склянку.)* Недаром я украл тебя из ящика брата, доктора, яд спасительный! Ты все рассеешь: и боязнь, и сомнение, и мучительное предчувствие смерти.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Площадь в Брюсселе

Эттер и плотник выступают вместе.

Плотник. Не все ли я предсказывал? Еще за неделю говорил я в цеху, что будут ссоры, и ссоры жестокие.

Эттер. Неужели это правда, что они во Фландрии опустошили церкви?

Плотник. Совсем до конца разорили все церкви и часовни. Оставили одни голые стены. Экой сброд негодяев! И от них должно теперь пострадать наше правое дело. Нам бы как должно с твердостью представить права свои правительнице, да и постоять за них. А теперь станем говорить, станем собираться, так как раз запишут в бунтовщики.

Эттер. Правда, теперь всякий думает: куда мне совать нос свой? Ведь от носу-то и до шеи недалеко.

Плотник. Ну, горе нам, если раз заснула чернь, все эти бродяги, которым нечего терять. Те выберут это предлогом, запутают и нас тут же, и беда всему народу.

Соест подходит к ним.

Соест. Здорово, господа! Что нового? Правда ли, что иконоборцы идут прямо сюда?

Плотник. Здесь они ничего не тронут.

Соест. Ко мне подходил солдат табак покупать. Я порасспросил его. Правительница, которая всегда была баба твердая и умная, теперь на себя не похожа. Должно быть, что дело идет плохо, когда она прячется за свои войска. Крепость вся обложена. Даже слух носится, что она хочет бежать из города.

Плотник. Нет! ей не должно оставлять города. Ее присутствие отвратит от нее опасность, а мы будем защищать ее лучше всех ее усачей: мы подымем ее на руки, если она удержит за нами наши права, нашу свободу.

Мыловар подходит к ним.

Мыловар. Проклятые ссоры, ужасные ссоры! Того и гляди, что все придет в волнение и не добром кончится. Смотрите, будьте смирны, чтобы вас не приняли за мятежников.

Соест. Вот вам и семь мудрецов греческих.

Мыловар. Я знаю, многие тайно действуют заодно с кальвинистами, бранят епископов и не боятся короля; но верный подданный, искренний католик...

Мало-помалу присоединяются люди различного разбора и слушают. Ванзен подходит.

Ванзен. Бог помощь, господа! Что нового?

Плотник. Не водитесь с этим, он мерзавец.

Эттер. Это, кажется, писец доктора Витса.

Плотник. Ему служить не первому господину. Он служил у многих подьячих. Наперед был он писцом, но так как его гоняли из дому в дом за плутовство, то он пустился в ремесло подьячих да стряпчих; он горький пьяница.

Народ стекается более и более и располагается толпами.

Ванзен. Вы тоже собрались, сомкнули головы в одну кучу. Стоит того, чтобы поговорить. Если бы между вами были люди с душой да люди к тому же с головой, то бы мы одним махом разорвали оковы гишпанские.

Соест. Слушай, сударь, этого не должен ты говорить, мы присягали королю.

Ванзен. А король присягал нам, заметьте.

Эттер. Ага! он говорит толком. Скажите свое мнение.

Несколько вместе. Слышали, он знает дело. Голова-то смышленая.

Ванзен. Я служил старому господину, у которого были пергаменты, столбцы самые древние, договоры и законы; старик любил также самые редкие книги, в одной было написано все наше государственное устройство: как нами, нидерландцами, управляли наперед отдельные князья и приносили с собою свои права, привилегии и обычаи; как наши предки уважали князей своих, когда они правили как должно, и как брали свои меры, когда князь хотел протянуть руку за веревку. Штаты тотчас заступались за правду; ибо в каждой провинции, как бы она мала ни была, находились штаты и представители народа.

Плотник. Молчите, сударь! Это всем давно известно. Всякий честный мещанин знает свое правление, сколько ему нужно знать его.

Эттер. Пускай он говорит, вы узнаете что-нибудь да нового.

Соест. Он совершенно прав.

Мыловар. Рассказывай, рассказывай! Это не всякий день услышишь.

Ванзен. Какие вы, граждане! Живете день на день. Получили ремень от отца и таскаетесь с ним; а там вам и горя нет, что войска вас давят и притесняют. Вы не заботитесь о происхождении, об истории власти и праве властителя — опустили головы, а между тем гишпанец и покрыл вас своей сетью.

Соест. Кто об этом думает? Был бы у всякого насущный хлеб.

Эттер. Проклятое дело! Зачем хоть временем не вырвемся, чтобы поговорить об этом.

Ванзен. Теперь говорю вам это. Король гишпанский, который по счастливому случаю завладел всеми провинциями вместе, должен бы ими править не иначе,

как князья, которые в старину владели ими отдельно. Понимаете?

Эттер. Растолкуй нам это.

Ванзен. Оно ясно как солнце. Не должны ли вы судиться по земным правам своим? Откуда это?

Мещанин. Правда!

Ванзен. Мещанин брюссельский не различные ли имеет права с антверпенским? Антверпенский с генгским? Откуда же это?

Другой мещанин. В самом деле.

Ванзен. Но если вы будете на все равнодушны, вам и другое покажут. Тьфу к черту! Чего не мог сделать ни Карл Смелый, ни воинственный Фридрих, ни Карл Пятый, то сделает Филипп и посредством женщины.

Соест. Да, да! И старые князья тоже было начинали.

Ванзен. Конечно! Наши предки глядели в оба. Досадит ли им какой-нибудь правитель, они заполонят, бывало, его сына или наследника, задержат его и выдадут только на самых выгодных условиях. Отцы наши были истинные люди! Они знали свою пользу. Знали, как за что взяться, как на чем постоять Прямые люди! Оттого-то права наши так ясны, наши вольности так неприкосновенны.

Мыловар. Что говорите вы про вольности?

Народ. Про наши права, про наши вольности! Скажите еще что-нибудь про наши права.

Ванзен. Все провинции имеют свои преимущества; но мы, брабанцы, мы особенно богаты правами. Я все читал.

Соест. Говори.

Эттер. Говори скорее.

Мещанин. Пожалуйста.

Ванзен. Во-первых, там написано, что герцог Брабантский должен быть наш добрый и верный господин.

Соест. Добрый! Неужели там это написано?

Эттер. Верный! Полно, так ли?

Ванзен. Уверяю вас, что точно так. Он нами обязан, мы им. Во вторых: он не должен поступать с нами насильственно и самовластно, не должен показывать и

вида насильства и самовластия, так чтоб мы и подозревать не могли никоим образом.

Эттер. Славно! не употреблять насильства.

Соест. Не показывать и вида.

Другой. Так чтобы и подозревать нельзя было! Вот главное! Чтоб никто не мог подозревать ни в чем.

Ванзен. Именно так.

Эттер. Достань нам книгу.

Один из мещан. Да, она нам надобна.

Другие. Книгу! Книгу!

Другой. Мы пойдем к правительнице с этой книгою.

Другой. Ты будешь говорить за нас, господин доктор.

Мыловар. Ослы! Ослы!

Другие. Расскажи еще что-нибудь из книги!

Мыловар. Только слово! так выбью зубы.

Народ. Осмелься кто его тронуть! Скажи нам что-нибудь о наших правах! Кроме тех, есть ли у нас еще права?

Ванзен. Разные и очень знатные, очень выгодные. Там написано между прочим, что правитель не должен ни переменять, ни умножать духовных людей без согласия дворян и чинов! Заметьте это! Не изменять и гражданского чиноположения.

Соест. В самом деле так?

Ванзен. Покажу, пожалуй, писанное, тому уж за двести или триста лет.

Мещане. А мы терпим новых епископов? Дворянство должно заступиться за нас; начнем тревогу!

Другие. И мы позволяем, чтоб нас пугала инквизиция?

Ванзен. Вы сами в том виноваты.

Народ. У нас есть еще Эгмонт! есть еще принц Оранский! Они пекутся о нашем счастии.

Ванзен. Ваши земляки во Фландрии начали доброе дело.

Мыловар. О скотина! *(Ударил его.)*

Другие *(сопротивляются и кричат)*. И ты испанец, что ли?

Другой. Как? честного человека?

Другой. Книжного? *(Бросается на мыловара.)*

Столяр. Бога ради, перестаньте!

Другие вмешиваются в драку.

Братцы! Ну что это такое?

Ребята свищут, бросаются камнями, травят собаками, из мещан некоторые стоят и смотрят, сбегается народ, иные покойно ходят взад и вперед, другие всячески дурачатся, кричат и веселятся.

Другие. Вольность и права! права и вольность!

Эгмонт *(является с сопровождением)*. Тише! тише, народ! Что сделалось! Тише! Разгоните их!

Столяр. Батюшка! Вы явились как ангел божий. Да полно ли вам? Не видите? Граф Эгмонт! Почтение графу Эгмонту!

Эгмонт. И здесь тоже? Что вы делаете? Граждане на граждан? Этого бешенства неужели не удерживает и близость королевской правительницы? Разойдитесь — всякий воротись к своей работе! Худой знак, когда вы в будни празднуете! Что сделалось?

Мятеж мало-помалу утихает, и все становятся вокруг него.

Столяр. Дерутся за свои права!

Эгмонт. Которые сами у себя отнимут по глупости. А кто вы такие? Мне кажется, вы честные люди.

Столяр. Добиваемся этого имени, батюшка.

Эгмонт. Ремесло твое?

Столяр. Плотник и цеховой голова.

Эгмонт. А твое какое?

Соест. Разносчик.

Эгмонт. А твое?

Эттер. Портной.

Эгмонт. Помню: ты шил ливреи моим людям. Ты прозываешься Эттер.

Эттер. Благодарю покорно, что помните.

Эгмонт. Я никого не забываю, с кем раз виделся и говорил. Делайте все возможное, братцы, чтоб сохранить спокойствие; об вас и без того довольно худо думают. Не раздражайте еще больше короля, ведь сила все-таки у него в руках. Порядочный гражданин, который кормится честным ремеслом, всегда имеет столько свободы, сколько ему нужно.

Столяр. Подлинно так, батюшка! В том-то и беда наша! Эти мошенники, эти пьяницы, эти бродяги — от праздности затевают ссоры, от голода бегают стадом за правами, лгут всякую всячину любопытным и легковерным и за бочку пива поднимают тревоги, в которых гибнут тысячи людей. Тут-то им и весело. Крепко запираем домы и сундуки: так рады бы огнем нас выжить.

Эгмонт. Вам будет оказана всякого рода помощь; приняты действительные меры против зла. Противьтесь чужому учению и не думайте, чтобы мятежами можно было утвердить права свои. Сидите дома, не давайте им шататься по улицам. Умные люди могут сделать многое.

Между тем большая часть народа разбежалась.

Столяр. Благодарим покорно, ваше сиятельство, за доброе о нас мнение. Сделаем все, что можем.

Эгмонт уходит

Славный князь! Настоящий нидерландец! Ничего испанского!

Эттер. О, когда бы только его в правители! Радехонек его слушаться.

Соест. Как бы не так. Нет! Король его местечко бережет для своих.

Эттер. Видел на нем платье? По новой моде, испанского покроя.

Столяр. Чудо-молодец!

Эттер. Его шея была бы настоящий сахар для палача.

Соест. Не с ума ли сошел? Что ты мелешь?

Эттер. В самом деле, влезет же глупость в голову! А точно так. Увидишь красивую длинную шею — тотчас подумаешь: ловко рубить голову. Эти проклятые казни! Из ума не выходят. Плавают ли ребята, и я вижу голые спины — тотчас вспомнишь целые сотни, которых видал под батожьем. Встретится какой-нибудь толстяк, мне кажется, что его уж на вергеле жарят. Ночью, во сне, все жилы дрожат: нет часу веселого. Забыл всякую забаву, все шутки на свете; только и видятся что страшилища да ужасы.

ЧТО ПЕНА В СТАКАНЕ — ТО СНЫ В ГОЛОВЕ

(Э. Т. А. Гофман)

— Что пена в стакане, то сны в голове, — сказал старый барон, протянувши руку к колокольчику, как бы с намерением призвать Гаспара, который обыкновенно с свечою провожал его в спальню. В самом деле, было уже поздно; холодный осенний ветер свистел в щели летнего зала; Мария сидела, вся закутавшись в шаль свою, закрывались глаза ее, и она едва могла бороться с дремотой. — Однакоже, — продолжал старик, снова отняв руку от звонка, выпятившись из кресел и облокотясь на свои колена, — однакож я помню, что в молодости имел я несколько снов, весьма удивительных.

— Ах, батюшка, — воскликнул Отмар, — какой сон не удивителен? Но не все действуют с равной силой; решительное, неоспоримое влияние имеют только те, которые предвещают какое-нибудь необыкновенное явление и, по словам Шиллера, как духи, предшествуют судьбам великим, — те, которые насильственно увлекают нас в темное таинственное царство, редко открытое ограниченным нашим взорам.

— Что пена в стакане — то сны в голове, — повторил барон глухим голосом.

— А я, — возразил Отмар, — я вижу разительную аллегорию и в этой пословице материалистов, которые часто называют нелепым и невероятным то, что очень естественно, и естественным то, что подлинно заслуживает удивления.

— Охота тебе искать смысла в нелепой, изношенной пословице, — сказала, зевая, Мария. Отмар засмеялся и отвечал:

— Открой глазки и выслушай меня терпеливо. Шутки в сторону, любезная Мария, если б тебе не так хотелось спать, ты сама бы догадалась, что когда речь идет об одном из превосходнейших явлений в жизни человеческой, то есть сновидениях, то при сравнении его с пеною должно разуметь пену в самом благородном смысле этого слова. Само собою разумеется, что здесь говорится об игривой, шипучей и кипящей пене шампанского, о такой пене, которую и ты, как я приметил, любишь слизывать, несмотря на то, что презираешь сок виноградный, как и должно красной девушке.

Взгляни на эти тысячи пузырьков, которые подымаются как жемчужины и пеною играют на краях бокала; это духи, которые терпеливо рвутся от земных оков; таким образом, в пене живет и движется высшее духовное начало, которое, освободясь от бремени вещественного, быстро несется на крылиях в далекое для нас всех, заветное царство неба, радостно беседует с родными высшими духами и, как в знакомую стихию, углубляется в мир самых удивительных явлений. Так, может быть, и сновидения рождаются и из этой пены, из коей свободно и весело вылетает дух наш в то время, как сон стесняет нашу жизнь внешнюю и мы пробуждаемся к жизни высшей, внутренней, в которой не только предчувствуем, но действительно познаем все явления отдаленного мира духов и уносимся за пределы времени и пространства.

— Мне кажется, — прервал его старый барон, как бы насильно отрываясь от томившего его воспоминания, — мне кажется, когда я тебя слушаю, что слышу твоего друга Альбана. А вы оба знаете, что я — непреклонный ваш противник. Все, что ты говорил теперь, хорошо сказано и могло бы очень нравиться многим чувствительным или, лучше сказать, сентиментальным душам; но оно односторонне и потому уже несправедливо. Если верить тому, что ты бредил о сообщении с миром духов, и чего уж я не помню, то надобно бы

полагать, что сновидения переносят человека в самое счастливое положение; напротив, все сновидения, которые я называю замечательными потому только, что доставил им некоторое влияние на жизнь мою, а случаем называю стечение обстоятельств, совсем не сходных между собою, но которые нечаянно соединились в одно общее явление, — все эти сны, говорю я, были неприятны, мучительны, так что иногда я занемогал, хотя и не любил в них углубляться, потому что тогда еще не было в моде гоняться за всем тем, что природа премудро от нас удалила.

— Вы знаете, батюшка, — возразил Отмар, — как я думаю вместе с другом моим Альбаном о том, что вы называете случаем, стечением обстоятельств и другими подобными именами. Что же касается до этой моды во все углубляться, то вспомните, батюшка, что эта мода очень стара, потому что основана в самой природе человеческой. Ученики в Саисе...

— Остановись! — воскликнул барон. — Теперь не время углубляться в разговор, который тем более избегаю, что я сегодня совсем не расположен бороться с твоим пламенным энтузиазмом к чудесному. Признаюсь откровенно, что сегодня, девятое сентября, меня преследует воспоминание, которое относится к летам моей молодости и от которого я избавиться не могу; если рассказать вам странное приключение, то Отмар, верно, бы вывел из него даказательство, каким образом сновидение, странным образом, но тесно связанное с действительностью, имело на меня самое злое влияние.

— Быть может, любезный батюшка, вы доставите случай Альбану и мне умножить различные опыты, которые подтверждают новейшую теорию влияния магнетизма, основанную на наблюдении сна и его видений...

— Одно слово «магнетизм» приводит меня в трепет, — возразил с досадою барон, — впрочем... всякий думает по-своему, и ваше счастие, если природа терпит, чтобы вы блудными руками дергали ее покрывало, и не наказывает любопытства уничтожением любопытных.

— Любезный батюшка, — возразил Отмар, — мы не будем спорить о предметах, которые зависят единственно от убеждения, но неужели вы не можете сообщить нам этого воспоминания о вашей молодости.

Барон сел глубже в кресло, прижался к спинке, поднял кверху вдохновенный взгляд, что он обыкновенно делал, когда был внутренно растроган, и так начал он рассказ свой:

— Вы знаете, что я получил военное образование в Берлинской рыцарской академии. В числе там определенных учителей находился человек, который для меня останется навсегда незабвенным; по сих пор не могу думать о нем без внутреннего содрогания, и часто мне кажется, что он, в виде призрака, вступает в двери. Необыкновенно высокий рост тем более был разителен, что он был худощав и сложен как бы из одних мускулов и нервов; в молодости, вероятно, был он хорош собою; ибо по сих пор едва ли можно было выдержать пламенный взгляд больших черных очей его; за пятьдесят лет от роду имел он еще силу и ловкость юноши; все движения его были быстры и решительны. На рапирах (на эспадронах) рубил ли, колол ли, он равно побеждал самых искусных, и самую дикую лошадь сжимал он так, что она под ним ржала. Он прежде был майором в датской службе, но, как говорили, он принужден был бежать из Дании, потому что в дуэли убил своего генерала. Некоторые уверяют, что это случилось не в дуэли, но что, за обидное слово, он проколол его шпагой, не дав ему времени защищаться. Словом, он точно бежал из Дании и был определен с чином майора к рыцарской академии, где он преподавал фортификацию в высшем классе. Он был вспыльчив до крайности; одно слово, один взгляд могли его привести в состояние бешенства; воспитанников наказывал он с самой утонченной жестокостью и при всем том все были к нему привязаны непонятным образом. Напр[имер], вопреки порядку и правилам учрежденным, он так сурово поступил с одним [из] воспитанников, что начальство за него вступилось и предало майора суду; но этот самый воспитанник слагал всю вину на себя и с таким жаром защищал его, что он

был оправдан. Случались дни, в которые он сам на себя не походил. Суровый, глухой голос его делался иногда удивительно благозвучен, а взгляд так привлекателен, что от него нельзя было оторваться. Он становился тогда и мягкосердечен, прощал все незначащие ошибки; а если тому или другому, за какой-нибудь отличный поступок, пожмет, бывало, руку, то этот знак одобрения, как бы непреложная сила волшебства, покорял ему душу молодого человека; так что если б он послал его на самую мучительную смерть, тот бы тотчас исполнил его повеление.

После таких дней обыкновенно воспоследовала ужасная буря, от которой всякий старался укрыться. Тогда, чуть только заря, а он уже надевал красный датский мундир свой и целый день без отдыха, зимою, как летом, бегал огромными шагами по большому саду, который примыкал к главному зданию рыцарской академии. Страшным голосом говорил он на датском языке и сопровождал речи свои самыми сильными телодвижениями: обнажит шпагу — сражается, как будто с могучим противником, нападает, защищается, наконец рассчитывает удар решительный и низвергает своего противника; тут раздаются ужасные ругательства и проклятия, он стучит ногами об землю, как [бы] растаптывая труп убитого. Тотчас после этого начинал он бегать с невероятною быстротою, влезал на самые высокие деревья и сверху так язвительно хохотал, что все было слышно в комнатах, и у нас кровь замерзала в жилах. Обыкновенно проводил он в таком бешенстве целые сутки, и замечательно было, что в равноденствие всегда случался с ним подобный припадок. На другой день казалось, что он не имел ни малейшего понятия о том, что с ним происходило накануне, примечали только, что он был нетерпеливее, вспыльчивей, суровее обыкновенного, что продолжалось до тех пор, пока он вновь успокаивался духом. Не знаю, откуда взялись странные нелепые слухи о нем, которые носились между прислужниками Академии, и даже в городе между простым народом. Уверяли, что он заговаривает огонь, исцеляет болезни возложением рук и даже одним взглядом, и я точно помню, что он однажды отбивался

палкою от людей, которые решительно уверяли, что исцелены им этим страшным образом. Старый инвалид, который служил мне, говорил, бывало, открыто, что он [очень] знает чудесные приключения господина майора, что за несколько лет на море в сильную бурю явился ему лукавый враг, обещал спасение от неизбежной смерти и сверхъестественную силу творить чудеса, что он согласился на предложение и предался лукавому: с тех пор часто должен он вступать в ужасную борьбу с лукавым, которого видели бегающего по саду в виде черной собаки или под образом другого чудовищного зверя; но, рано или поздно, непременно погибнет майор страшною смертию. Подобные рассказы казались мне и тогда безумными и нелепыми; но при всем том я не мог защититься от какого-то внутреннего ужаса; и вот за особенную склонность, которую майор имел ко мне преимущественно перед прочими, и я платил ему искренней привязанностью; однакож в то чувство, которое поселил во мне этот человек необыкновенный, входило что-то исполинское, что беспрерывно меня преследовало и чего я объяснить себе не мог. Как бы высшее существо понуждало меня привязаться к этому человеку, и мне казалось, что, если б я мог перестать любить его на одно мгновение, это мгновение было бы для меня убийственным. Если присутствие его имело для меня что-то приятно[е], то это чувство сопровождалось каким-то мучительным страхом и чувством непреоборимого принуждения, которое самым неестественным образом напрягало силы мои и приводило меня в трепет. Когда он был со мною особенно ласков и, как он обыкновенно делал в таком случае, сильно устремлял на меня взгляды, крепко жал руку, рассказывал разные чудесные повести, и если это продолжалось довольно долго, то я изнемогал под силою его впечатлений и чувствовал себя больным, расслабленным до крайности. Я умолчу о разных странных положениях, в которых я находился с другом моим, даже в то время, когда он принимал участие в моих детских играх и прилежно помогал мне строить крепость, которую я начал в саду, по строжайшим правилам фортификации, — приступаю к главному происшествию.

В сентябре месяце, если я точно помню, в ночь от восьмого на девятое, в тысяча семьсот... году видел я во сне так живо, как бы наяву, что майор тихонько отворил мою дверь, медленно подошел к моей постели, с ужасной силою устремил на меня глубокие черные глаза свои и положил руку мне на лоб, и прикрыв немного глаза мои, так, однако, что я мог его видеть перед собою. И стенал — мне было душно и страшно. Тут сказал он мне глухим голосом: «Несчастное дитя человеческое, познай твоего владык[у], напрасно извиваешься ты, из рабства не выползешь, ты не свергнешь моего ига! Я — бог твой, вижу насквозь твою внутренность, все, что ты прежде в ней скрывал, все, что вперед скрыть захочешь, — обнажено передо мною и в полном свете. Чтоб не дерзал ты, о червь земной, сомневаться в силе моей над тобою, я видимым образом хочу проникнуть в самое тайное хранилище твоих мыслей». В ту же минуту увидел я в руке его острую раскаленную иглу, которой проткнул он мой череп. Я вскрикнул от ужаса и проснулся, обливаясь потом и почти без памяти. Наконец, пришел я в себя, но комната была наполнена густым тяжелым воздухом, и мне казалось, что я издали слышу голос майора, который несколько раз звал меня моим именем. Я почел это действием ужасного сна и выпрыгнул из постели, чтобы открыть окно и отдохнуть на свежем воздухе. Но какой ужас овладел мною, когда, при полном месяце, я увидел, что майор, в красном своем мундире, так, как [он] представился мне во сне, шел по большой аллее к решеточным воротам, которые вели в поле; отворил их, вышел и захлопнул так крепко, что все застучало — и вереи, и затворы, и стук громко раздался в тихой ночи. «Что это значит? зачем ночью идет майор в поле?» — думал я про себя; мучительная робость стеснила мне дыхание, какая-то непреоборимая сила понудила меня одеться и разбудить доброго нашего инспектора, почтенного семидесятилетнего старца, единственного человека, которого майор в самом сильном пароксизме болел и щадил, и рассказал все, что случилось со мною и во сне и наяву. Старик слушал очень внимательно и сказал мне, что и он слышал сильный стук ворот, но

подумал, что это был ложный сон, что во всяком случае с майором могло что-нибудь случиться и потому не худо справиться обо всем в его комнате. Ударили в звонок; воспитанники и учителя пробудились, и мы пошли со свечами по длинному коридору к комнате майора.

Дверь была заперта, и тщетные усилия отворить ее ключом убедили нас, что она держалась внутри на затворах. Другая дверь — единственный выход из комнаты...[1]

1827

---

[1] На этом рукопись Д. Веневитинова обрывается, см. примечания. *(Ред.)*

СТАТЬИ



АНАКСАГОР

Беседа Платона

Анаксагор. Давно, Платон, давно уроки божественного Сократа не повторялись в наших беседах, и я по сих пор напрасно искал случая предложить тебе несколько вопросов о любимых наших науках.

Платон. Готов удовлетворить твоим вопросам, любезный Анаксагор, если силы мои мне это позволят.

Анаксагор. Ты всегда решал мои сомнения, Платон, и я не помню, чтобы ты когда-нибудь оставил хоть один из наших вопросов без удовлетворительного ответа.

Платон. Если и так, Анаксагор, то не я производил такие чудеса, но наука, божественная наука, которая внушала речи Сократа и которой я решился посвятить всю жизнь свою.

Анаксагор. Недавно читал я в одном из наших поэтов описание золотого века, и признаюсь тебе, Платон, в моей слабости: эта картина восхитила меня. Но когда я на несколько времени перенесся в этот мир совершенного блаженства и потом снова обратился к нашим временам, тогда очарование прекратилось, и у меня невольно вырвался горестный вопрос: для чего дано человеку понятие о таком счастии, которого он достигнуть не может? Для чего имеет он несчастную способность мучить себя игрою воображения, прекрасными вымыслами?

Платон. Как? неужели ты представляешь себе золотой век вымыслом поэта, игрою воображения? Неужели ты полагаешь, что поэт может что-либо вымышлять?

Анаксагор. Без сомнения; и я думал в этом случае быть с тобою согласным.

Платон. Ты ошибаешься, Анаксагор. Поэт выражает свои чувства, а все чувства не в воображении его, но в самой его природе.

Анаксагор. Если так, то для чего же изгоняешь ты поэтов из твоей республики?

Платон. Я не изгоняю истинных поэтов, но, увенчав их цветами, прошу оставить наши пределы.

Анаксагор. Конечно, Платон; кто из поэтов не согласился бы посетить твою республику, чтоб подвергнуться такому изгнанию? Но не менее того это не доказывает ли, что ты почитаешь поэзию вредною для общества и, следственно, для человека?

Платон. Не вредною, но бесполезною. Моя республика должна быть составлена из людей мыслящих, и потому действующих. К такому обществу может ли принадлежать поэт, который наслаждается в собственном своем мире, которого мысль вне себя ничего не ищет и, следственно, уклоняется от цели всеобщего усовершенствования? Поверь мне, Анаксагор: философия есть высшая поэзия.

Анаксагор. Я охотно соглашусь с твоею мыслию, Платон, когда ты покажешь мне, как философия может объяснить, что такое золотой век.

Платон. Помнишь ли, Анаксагор, слова Сократа о человеке? Как называл он человека?

Анаксагор. Малым миром.

Платон. Так точно, и эти слова должны объяснить твой вопрос. Что́ понимаешь ты под выражением: малый мир?

Анаксагор. Верное изображение вселенной.

Платон. Вообще эмблему всякого целого и, следственно, всего человечества. Теперь рассмотрим человека в отдельности и применим мысль о человеке ко всему человечеству. Случалось ли тебе знать старца, свершившего в добродетели путь, предназначенный ему

природою, и приближающегося к концу с богатыми плодами мудрой жизни?

Анаксагор. Кто из нас, Платон, забудет добродетельного Форбиаса, который, посвятив почти целый век любомудрию, на старости лет, казалось, возвратился к счастливому возрасту младенчества?

Платон. Ты сам, Анаксагор, развиваешь мысль мою. Так! всякий человек рожден счастливым, но чтобы познать свое счастье, душа его осуждена к борению с противоречиями мира. Взгляни на младенца — душа его в совершенном согласии с природою; но он не улыбается природе, ибо ему недостает еще одного чувства — совершенного самопознания. Это музыка, но музыка еще скрытая в чувстве, не проявившаяся в разнообразии звуков. Взгляни на юношу и на человека возмужалого. Что значит желание опытности? где причина всех его покушений, всех его действий, как не в идее счастия, как не в надежде достигнуть той степени, на которой человек познает самого себя? Взгляни, наконец, на старца; он, кажется, вдохновенным взором окидывает минувшее поприще и видит, что все бури мира для него утихли, что путь трудов привел его к желанной цели — к независимости и самодовольству. Вот жизнь человека! она снова возвращается к своему началу. Рассмотрим теперь ход человечества, и тогда загадка совершенно для нас разрешится. В каком виде представляется тебе золотой век?

Анаксагор. Древние наши поэты посвятили всё свое искусство описанию какого-то утраченного блаженства, и слова мои не могут выразить моего чувства.

Платон. Не требую от тебя картины; но скажи мне, как представляешь ты себе первобытного человека в отношении к самой природе?

Анаксагор. Он был, как уверяют, царем природы.

Платон. Царем природы может назваться только тот, кто покорил природу; и следственно, чтоб познать свою силу, человек принужден испытать ее в противоречиях — оттуда раскол между мыслию и чувством. Объясню тебе эти слова примером. Представим себе Фидиаса, пораженного идеею Аполлона. В душе

его совершенное спокойствие, совершенная тишина. Но доволен ли он этим чувством! Если б наслаждение его было полное, для чего бы он взял резец? Если б идеал его был ясен, для чего старался бы он его выразить? Нет, Анаксагор! эта тишина — предвестница бури. Но когда вдохновенный художник, победив все трудности своего искусства, передал мысль свою бесчувственному мрамору, тогда только истинное спокойствие водворяется в душу его — он познал свою силу и наслаждается в мире, ему уже знакомом.

Анаксагор. Конечно, Платон, это можно сказать о художнике, потому что он творит и для того своевольно борется с трудностями искусства.

Платон. Не только о художнике, но и о всяком человеке, о всем человечестве. Жить — не что иное как творить будущее — наш идеал. Но будущее есть произведение настоящего, то есть нашей собственной мысли.

Анаксагор. Итак, Платон, если я понял твою мысль, то золотой век точно существовал и снова ожидает смертных.

Платон. Верь мне, Анаксагор, верь: она снова будет, эта эпоха счастия, о которой мечтают смертные. Нравственная свобода будет общим уделом; все познания человека сольются в одну идею о человеке; все отрасли наук сольются в одну науку самопознания. Что до времени? Нас давно не станет, — но меня утешает эта мысль. Ум мой гордится тем, что ее предузнавал и, может быть, ускорил будущее. Тогда пусть сбудется древнее египетское пророчество. Пусть солнце поглотит нашу планету, пусть враждебные стихии расхитят разнородные части, ее составляющие! Она исчезнет, но совершив свое предназначение, исчезнет, как ясный звук в гармонии вселенной!

1825

РАЗБОР СТАТЬИ О «ЕВГЕНИИ ОНЕГИНЕ», ПОМЕЩЕННОЙ В 5-М № «МОСКОВСКОГО ТЕЛЕГРАФА» [на 1825 г.]

Если талант всегда находит в себе самом мерило своих чувствований, своих впечатлений, если удел его попирать обыкновенные предрассудки толпы, односторонней в суждениях, и чувствовать живее другого творческую силу тех редких сынов природы, на коих гений положил свою печать, то какою бы мыслию поражен был Пушкин, прочитав в «Телеграфе» статью о новой поэме своей, где он представлен не в сравнении с самим собою, не в отношении к своей цели, но верным товарищем Байрона на поприще всемирной словесности, стоя с ним на одной точке?

«Московский телеграф» имеет такое число читателей, и в нем встречаются статьи столь любопытные, что всякое несправедливое мнение, в нем провозглашаемое, должно необходимо иметь влияние на суждение если не всех, то по крайней мере многих. В таком случае обязанность всякого благонамеренного — заметить погрешности издателя и противиться, сколько возможно, потоку заблуждений. Я уверен, что г. Полевой не оскорбится критикою, написанною с такою целью: он в душе сознается, что при разборе «Онегина» пером его, может быть, управляло отчасти и желание обогатить свой журнал произведениями Пушкина (желание, впрочем, похвальное и разделяемое, без сомнения, всеми читателями «Телеграфа»).

И можно ли бороться с духом времени? Он всегда остается непобедимым, торжествуя над всеми усилиями, отягощая своими оковами мысли даже тех, которые незадолго перед сим клялись быть верными поборниками беспристрастия!

Первая ошибка г. Полевого состоит, мне кажется, в том, что он полагает возвысить достоинство Пушкина, унижая до чрезмерности критиков нашей словесности. Это ошибка против расчетливости самой обыкновенной, против политики общежития, которая предписывает всегда предполагать в других сколько можно более ума. Трудно ли бороться с такими противниками, которых заставляешь говорить без смысла? Признаюсь, торжество незавидное. Послушаем критиков, вымышленных в «Телеграфе».

«Что такое «Онегин»? — спрашивают они, — *что за поэма, в которой есть главы, как в книге, и проч.?»*

Никто, кажется, не делал и, вероятно, не сделает такого вопроса; и до сих пор, кроме издателя «Телеграфа», никакой литератор еще не догадывался заметить различие между *поэмою* и *книгою.*

Ответ стоит вопроса.

«*Онегин», —* отвечает защитник Пушкина: — *роман в стихах, следовательно в романе позволяется употребить разделение на главы;* и проч.».

Если г. Полевой позволяет себе такого рода заключение, то не вправе ли я буду таким же образом заключить в противность и сказать:

«Онегин» — роман в стихах; *следовательно,* в стихах непозволительно употребить разделение на главы», но наши смелые силлогизмы ничего не доказывают ни в пользу «Онегина», ни против него и лучше предоставить г. Пушкину оправдать самим сочинением употребленное им разделение.

Оставим мелочный разбор каждого периода. В статье, в которой автор не предположил себе *одной* цели, в которой он рассуждал, не опираясь на *одну основную мысль,* как не встречать погрешностей такого рода? Мы будем говорить о тех только ошибках, которые могут распространять ложные понятия о Пушкине и вообще о поэзии.

Кто отказывает Пушкину в *истинном таланте?* Кто не восхищался его стихами? Кто не сознается, что он подарил нашу словесность прелестными произведениями? Но для чего же всегда сравнивать его с Байроном, с поэтом, который, духом принадлежа не одной Англии, а нашему времени, в пламенной душе своей сосредоточил стремление целого века, и если бы мог изгладиться в истории частного рода поэзии, то вечно остался бы в летописях ума человеческого?

Все произведения Байрона носят отпечаток одной глубокой мысли — мысли о человеке, в отношении к окружающей его природе, в борьбе с самим собою, с предрассудками, врезавшимися в его сердце, в противоречии с своими чувствами. Говорят: в его поэмах мало действия. Правда — его цель не *рассказ; характер его героев* не *связь описаний;* он описывает предметы не для предметов самих, не для того, чтобы представить *ряд картин,* но с намерением выразить впечатления их на лицо, выставленное им на сцену. — Мысль истинно пиитическая, творческая.

Теперь, г. издатель «Телеграфа», повторю ваш вопрос: что такое «Онегин»? Он вам *знаком,* вы его *любите*. Так! но этот герой поэмы Пушкина, по собственным словам вашим, *шалун с умом, ветреник с сердцем,* и ничего более. Я сужу так же, как вы, то есть по одной первой главе; мы, может быть, оба ошибемся и оправдаем осторожность опытного критика, который, опасаясь попасть в *кривотолки,* не захотел произнесть преждевременно своего суждения.

Теперь, милостивый государь, позвольте спросить: что вы называете *новыми приобретениями Байронов и Пушкиных?* Байроном гордится новейшая поэзия, и я в нескольких строчках уже старался заметить вам, что характер его произведений истинно новый. Не будем оспаривать у него славы изобретателя. Певец «Руслана и Людмилы», «Кавказского пленника» и проч. имеет неоспоримые права своих соотечественников, обогатив русскую словесность красотами, доселе ей не известными, — но признаюсь вам и самому нашему поэту, что я не вижу в его творениях приобретений, подобных Байроновым, *делающих*

честь веку. Лира Альбиона познакомила нас со звуками, для нас совсем новыми. Конечно, в век Людовика XIV никто бы не написал и поэм Пушкина; но это доказывает не то, что он от него не отстал. Многие критики, говорит г. Полевой, уверяют, что «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан» вообще взяты из Байрона. Мы не утверждаем так определительно, что наш стихотворец заимствовал из Байрона планы поэм, характеры лиц, описания; но скажем только, что Байрон оставляет в его сердце глубокие впечатления, которые отражаются во всех его творениях. Я говорю смело о г-не Пушкине; ибо он стоит между нашими стихотворцами на такой ступени, где правда уже не колет глаз.

И г. Полевой платит дань нынешней моде! В статье о словесности как не задеть Батте? Но великодушно ли пользоваться превосходством века своего для унижения старых Аристархов? Не лучше ли не нарушать покоя усопших? Мы все знаем, что они имеют достоинство только относительное; но если вооружаться против предрассудков, то не полезнее ли преследовать их в живых? И кто от них свободен? В наше время не судят о стихотворце по пиитике, не имеют условного числа правил, по которым определяют степени изящных произведений. Правда. Но отсутствие правил в суждении не есть ли также предрассудок? Не забываем ли мы, что в пиитике должно быть основание положительное, что всякая наука положительная заимствует свою силу из философии, что и поэзия неразлучна с философией?

Если мы с такой точки зрения беспристрастным взглядом окинем ход просвещения у всех народов (оценяя словесность каждого в целом: степенью философии времени; а в частях: по отношению мыслей каждого писателя к современным понятиям о философии), то все, мне кажется, пояснится. Аристотель не потеряет прав своих на глубокомыслие, и мы не будем удивляться, что французы, подчинившиеся его правилам, не имеют литературы самостоятельной. Тогда мы будем судить по правилам верным о словесности и новейших времен; тогда причина роман-

тической поэзии не будет заключаться в *неопределенном состоянии сердца.*

Мы видели, как издатель «Телеграфа» судит о поэзии: послушаем его, когда он говорит о живописи и музыке, сравнивая художника с поэтом.

«В очерках Рафаэля виден художник, способный к великому: его воля приняться за кисть, и великое изумит ваши взоры; не хочет он — и никакие угрозы критика не заставят его писать, что хотят другие». Далее:

«В музыке есть особый род произведений, называемых capriccio,— и в поэзии есть они. Таков «Онегин».

Как! в *очерках* Рафаэля вы видите одну только способность к великому? Надобно ему *приняться* за кисть и окончить картину для того, чтобы вас изумить? Теперь не удивляюсь, что «Онегин» вам нравится, как *ряд картин;* а мне кажется, что первое достоинство всякого художника есть сила мысли, сила чувств; и эта сила обнаруживается во всех очерках Рафаэля, в которых уже виден идеал художника и объем предмета. Конечно, и колорит, необходимый для подробного выражения чувств, содействует красоте, гармонии целого; но он только распространяет мысль главную, всегда отражающуюся в характере лиц и в их расположении. И что за сравнение поэмы эпической с картиною и «Онегина» — с очерком!

Не хочет он, и никакие угрозы критика не заставят его писать, что хотят другие.

Ужели Рафаэль с г. Пушкиным исключительно пользуются правом не подчиняться воле и угрозам критиков своих? Вы сами, г. Полевой, от этого права не откажетесь, и, например, если не захотите согласиться со мной насчет замеченных мною ошибок, то, верно, угрозы вас к тому не принудят.

В особом роде музыкальных сочинений, называемом *capriccio,* есть также постоянное правило. В *capriccio,* как и во всяком произведении музыкальном, должна заключаться полная мысль, без чего и искусства существовать не могут. — *Таков «Онегин»?* Не знаю — и повторяю вам: мы не имеем права судить о нем, не прочитавши всего романа.

После всех громких похвал, которыми издатель «Телеграфа» осыпает Пушкина и которые, впрочем, для самого поэта едва ли не опаснее *безмолвных громов*, кто ожидал бы найти в той же статье: *«В таком же положении, как Байрон к Попу, Пушкин находится к прежним сочинителям шуточных русских поэм»*.

Не надобно забывать, что на предыдущей странице г. Полевой говорит, что у нас *в сем роде не было ничего сколько-нибудь сносного*[1]. Мы напомним ему о «Модной жене» И. И. Дмитриева и о «Душеньке» Богдановича.

Несколько слов о народности, которую издатель «Телеграфа» находит в первой главе Онегина: *«Мы видим свое,* — говорит он: — *слышим родные поговорки, смотрим на свои причуды, которых все мы не чужды были некогда»*. Я не знаю, что тут народного, кроме имен петербургских улиц и ресторации. И во Франции и в Англии пробки хлопают в потолок, охотники ездят в театры и на балы. Нет, г. издатель «Телеграфа»! Приписывать Пушкину лишнее — значит отнимать у него то, что истинно ему принадлежит. В «Руслане и Людмиле» он доказал нам, что может быть поэтом национальным.

До сих пор г. Полевой говорил решительно; без всякого затруднения определил достоинства *будущего* романа «Онегина». Его рецензия сама собою и, кажется, без ведома автора лилась из пера его, — но вот камень преткновения. Порыв его остановился: *для рецензента стихотворений Пушкина где взять ошибок?* Милостивый государь! Целое произведение может иногда быть однюю ошибкою; я не говорю этого насчет «Онегина», но для того только, чтобы уверить

---

[1] Г. издатель «Телеграфа»! Позвольте мне для ясности привести уравнение двух предполагаемых вами отношений в принятую форму. Мы назовем буквою x сумму всех неизвестных, по мнению вашему, русских писателей шуточных поэм и скажем:

Байрон: Попу = Пушкин: x.

Заметим, что здесь x не искомый, что даже трудно его выразить в математике, потому что, если лучше совсем не писать, нежели писать дурно, то x будет менее нуля. — Теперь как нравится вам второе отношение нашей пропорции? *(Прим. Д. Веневитинова.)*

вас, что и ошибки определяются только в отношении к целому. Впрочем, будем справедливыми: и в напечатанной главе «Онегина» строгий вкус заметит, может быть, несколько стихов и отступлений, не совсем соответствующих изящности поэзии, всегда благородной, даже и в шутке; касательно же выражений, названных вами неточными, я не во всем согласен с вашим мнением: *вздыхает лира* — в поэзии прекрасно; *возбуждать улыбку* — хорошо и правильно, едва ли можно выразить мысль свою яснее.

Мне остается заметить г. Полевому, что вместо того, чтобы с такою решимостью заключать о романе по первой главе, которая имеет нечто целое, полное в одном только отношении, т. е. как картина петербургской жизни, лучше бы было распространиться о разговоре поэта с книгопродавцем. В словах поэта видна душа свободная, пылкая, способная к сильным порывам, — признаюсь, я нахожу в этом разговоре более истинного пиитизма, нежели в самом «Онегине».

Я старался заметить, что поэты не летают без цели и как будто единственно на зло пиитикам; что поэзия не есть неопределенная горячка ума, но, подобно предметам своим, природе и сердцу человеческому, имеет в себе самой постоянные свои правила. Внимание наше обращалось то на разбор издателя «Телеграфа», то на самого «Онегина». Теперь, что скажу в заключение?

О статье г. Полевого, — что я желал бы найти в ней критику, более основанную на правилах положительных, без коих все суждения шатки и сбивчивы.

О новом романе г. Пушкина, — что он есть новый прелестный цветок на поле нашей словесности, что в нем нет описания, в котором бы не видна была искусная кисть, управляемая живым, резвым воображением; почти нет стиха, который бы не носил отпечатка или игривого остроумия, или очаровательного таланта в красоте выражения.

1825

РАЗБОР РАССУЖДЕНИЯ г. МЕРЗЛЯКОВА:

О НАЧАЛЕ И ДУХЕ ДРЕВНЕЙ ТРАГЕДИИ И ПРОЧ., НАПЕЧАТАННОГО ПРИ ИЗДАНИИ ЕГО ПОДРАЖАНИЙ И ПЕРЕВОДОВ ИЗ ГРЕЧЕСКИХ И ЛАТИНСКИХ СТИХОТВОРЦЕВ

Amicus Plato, magis amica veritas.

Прискорбно для любителя отечественной словесности восставать на мнения верного ее жреца, в то самое время, когда он приносит ей в дар новый плод своих трудов и в живых переводах, передавая нам дух красоты древней поэзии, воздвигает памятник изящному вкусу и чистому русскому языку; но чем отличнее заслуги г. Мерзлякова на поприще словесности, тем опаснее его ошибки, по обширности их влияния, и любовь к истине принуждает нарушить молчание, невольно предписываемое уважением к достойному литератору.

Рассуждение г. Мерзлякова «О начале и духе древней трагедии» оправдывает истину давно известную, — что тот, кто чувствует, не всегда может отдать себе и другим верный отчет в своих чувствах. Красоты поэзии близки сердцу человеческому и, следственно, легко ему понятны; но чтобы произнесть общее суждение о поэзии, чтобы определить достоинство поэта, надобно основать свой приговор на мысли определенной; эта мысль не господствует в теории г. Мерзлякова, в которой главная ошибка есть, может быть, недостаток теории; ибо нельзя назвать сим именем искры чувств, разбросанные понятия о поэзии, часто

облеченные прелестию живописного слога, но не связанные между собой, не озаренные общим взглядом и перебитые явными противоречиями. Кто из сего не заметит, что рецензенту предстоит двойной труд: говоря о таком рассуждении, в котором нет систематического порядка, он находится в необходимости не только опровергать ошибочные мнения, но часто упоминать и о том, что должно бы заключаться в сочинении об отрасли изящных искусств? К несчастию, мы встретим довольно доказательств к подтверждению всего вышесказанного. Приступим к делу. Г-н Мерзляков останавливает нас на первом шагу. Вот слова его:

«*Трагедия и комедия, так как и все изящные искусства, обязаны своим началом более случаю и обстоятельствам, нежели изобретению человеческому*». Нужно ли доказывать неосновательность сего софизма, когда сам автор опровергает его на следующей странице? «*Вероятно,* — говорит он, — *что трагедия не принадлежит одним грекам, одному какому-либо народу; но всем народам и всем векам*». Оно более нежели вероятно; оно неоспоримо, если мы здесь под словом *трагедии* понимаем драматическую поэзию; но вероятно ли, чтобы эти два периода были писаны одним пером, в расстоянии одной страницы? То, что принадлежит *всем народам, всем векам,* не принадлежит ли, одним словом, человеку, его природе, и может ли быть обязано своим началом *случаю? Обстоятельства* ли породили в человеке мысль и чувство? И что значит здесь человеческое изобретение? Кто изобрел язык? Кто первый открыл движения тела, выражающие состояние сердца в духа? Г-н Мерзляков, не подтверждая первого своего предложения, тотчас бросает эту мысль, ни с чем не связанную, как неудачно избранный эпиграф и продолжает: «*Мудрая учительница наша, природа, явила себя нам во всем своем великолепии, красоте и благах неисчетных, возбудила подражательность и передала милое чадо свое на воспитание нашему размышлению, наблюдениям и опытам и пр.*». Положим, что так; но читатель едва ли постигает скрытое отношение сей мысли к трагедии и

комедии. Поэт, без сомнения, заимствует из природы форму искусства; ибо нет форм вне природы; но и *подражательность* не могла породить искусств, проистекающих от избытка чувств и мыслей в человеке и от нравственной его деятельности. Тайна сей загадки не разрешается, и немедленно после сего следует история козла, убитого Икаром, и греческих празднеств в честь Бахуса. В сем рассказе не заключается ничего особенного; он находится во всех теориях, которые, не объясняя постепенности существенного развития искусств, облекают в забавные сказочки историю их происхождения. Итак, мы не будем следовать за г. Мерзляковым, когда он сам не следует своей собственной нити в разысканиях и воспоминает давно известное и пересказанное. Заметим только, что при нынешних успехах эстетики мы ожидали в истории трагедии более занимательности. Для чего не показать нам ее развития из соединения лирической поэзии и эпопеи? Для чего не намекнуть на общую колыбель сих родов поэзии? Из подобных замечаний внимательный читатель заключил бы, что они неотъемлемо принадлежат человеку, как необходимые формы, в которые выливаются его чувства. Мы бы объяснили себе, отчего находим следы их у всех народов; увидели бы, что не стремление к подражанию правит умом человеческим, что он не есть в природе существо единственно страдательное. Но здесь некстати распространяться о понятиях такого рода и воздвигать новую систему на место разбираемой теории; тем более, что г. Мерзляков, кажется, отвергает все новейшие открытия и, вероятно, не уважит доказательств, на них основанных. Он говорит решительно, что, *«соблазняемые, к несчастию, затейливым воображением наших романтиков, мы теперь увлекаемся быстрым потоком весьма сомнительных временных мнений»*, и видит тут *«судьбу изящных искусств, склоняющихся уже к унижению»*. Я осмелюсь вступиться за честь нашего века. Новейшие произведения, без сомнений, не могут сравниться с древними в рассуждении полноты и подробного совершенства. В них еще не определены отношения частей к целому. Я с этим согласен. Но законы частей не определяются

ли сами собою, когда целое направлено к известной цели? Нашу поэзию можно сравнить с сильным голосом, который, свысока взывая к небу, пробуждает со всех сторон отголоски и усиливается в своем порыве [1].

Поэзия древних пленяет нас как гармоническое соединение многих голосов. Она превосходит новейшую в совершенстве соразмерностей, но уступает ей в силе стремления и в обширности объема. Поэзия Гёте, Байрона есть плод глубокой мысли, раздробившейся на всевозможные чувства. Поэзия Гомера есть верная картина разнообразных чувств, сливающихся как бы невольно в мысль полную. Первая, как поток, рвется к бесконечному; вторая, как ясное озеро, отражает небо, эмблему бесконечного. Всякий век имеет свой отличительный характер, выражающийся во всех умственных произведениях; на все равно распространяется наблюдение истинного филолога, и заметим, что науки и искусства еще не близки к своему падению, когда умы находятся в сильном брожении, стремятся к цели определенной и действуют по врожденному побуждению к действию. Где видны усилия, там жизнь и надежда. Но тогда им угрожает неминуемая опасность, когда все порывы прекращаются; настоящее тянется раболепно по следам минувшего, когда холодное бесстрастие восседает на памятниках сильных чувств и самостоятельности и целый век представляет зрелище безнадежного однообразия. Вот что нам доказывает история философии, история литературы. Но возвратимся к Мерзлякову.

Он переносит нас в первые времена Греции и живописует нам начальные успехи гражданственной ее

---

[1] Мы здесь говорим о тех только произведениях, которые определяют общее направление мыслей в нашем веке. Extrema coeunt. Весь мир составлен из противоположностей, и наш литературный мир ими богат. Но для чего судить по карикатурам? Бездушные поэмы, в которых нет ни начала, ни конца, бесхарактерные романы и повести, бранчивые критики, писанные единственно во зло врожденным законам логики и условным правилам приличия, еще менее принадлежат к числу романтических сочинений, нежели поэмы Шапелена к поэзии классической. *(Прим. Д. Веневитинова.)*

образованности, — в этой части рассуждения, как и во многих других, видно клеймо истинного таланта. — Ясное воображение автора нередко увлекает читателя; жаль, что мысли его не выходят из сферы, очерченной, кажется, предубеждениями. В литературе право давности не должно бы существовать, а г. Мерзляков часто жертвует ему собственным суждением; потому и порывы чувств его бывают подобны блуждающим огням, которые приманивают путника, но сбивают его с верной дороги. Кто ожидал бы, чтоб в нашем веке на поэзию взирали, как на *орудие политики;* чтоб мы были обязаны трагедиею *мудрым правителям первобытных обществ?* Как? поэзия, получившая свое существование от случая, должна, сверх того, влачить оковы рабства от самой колыбели? Бесполезно опровергать эту мысль: тот, кто питает в сердце страсть к искусствам, страсть к просвещению, сам ее отбросит. В первобытном состоянии Греции, без сомнения, политика умела извлекать пользу из произведений великих поэтов. Мы видим, что Солон, Пизистрат и Пизистратиды распространяли рапсодии Гомера и действовали тем на дух целого народа; но сие не доказывает ли, что политика, имевшая одну только цель, — любовь к отечеству, свободе и славе, не уклонялась от духа века, который был, так сказать, вечернею зарею героической эпохи, воспетой Гомером? Можно ли из сего заключить, что поэзия была *орудием* правителей? Нет! Она была приноровлена к современным нравам и узаконениям — без сомнения, не потому только, что и сама философия, во время рождения трагедии в Греции, была более нравоучительною, нежели умозрительною. Понятия о двух началах, перешедшие в Грецию, вероятно, из Египта, где они были господствующими, начинали уже искореняться; аллегории Гомера, в которых заключалась вся философия его времени, теряли уже высокие свои значения, когда явился Есхил, облек в форму своих трагедий народные предания и воскресил на сцене забытые мысли древней философии. Многие укоряли его в том, что он обнаруживал в своих творениях сокровенные истины Елевзинских тайн, в которых хранился ключ к загадкам

древней мифологии. Этот укор не доказывает ли, что сей писатель стремился соединить поэзию с любомудрием? Ав. Шлегель с большою основательностью предполагает, что аллегорическое его произведение «Прометей» принадлежит к трилогу, коего две части для нас потеряны. Эта форма, заключающая в себе развитие полной философической мысли, кажется принадлежностью трагедий Есхила, который в «Агамемноне» «Коефорах» и «Умоляющих» оставил нам пример полного трилога. Теперь мы легко объясним себе, отчего Гомер был обильным источником для греческих поэтов. И подлинно, где им было черпать, как не в творениях такого гения, который был зеркалом минувшего, являлся им в атмосфере высоких, ясных понятий, дышал свободным чувством красоты, в песнях своих открывал перед ними великолепный мир со всеми его отношениями к мысли человека? После сих замечаний естественно представляется вопрос: был ли Гомер философом? Стремился ли он сосредоточить и развить рассеянные понятия религии? Вопрос тем более любопытный, что, не разрешив его, нельзя определить достоинства поэтов, последователей Гомера, нельзя даже судить об успехах самого искусства.

Этого вопроса не сделал себе г. Мерзляков; оттого, может быть, и ошибается он в своем мнении о начале трагедии и вообще о достоинстве поэзии. Вся философия Гомера заключается, кажется, в ясной простоте его рассказов и в совершенной искренности его чувств. В нем, как в безоблачном возрасте младенчества, нет усилий ума, нет определенного стремления, но везде видно верное созерцание окружающего мира, везде слабые, но предвещательные предчувствия высоких истин. Вот характер Гомеровых поэм; они духом близки к счастливому времени, в котором мысли и чувства соединялись в одной очаровательной области, заключающей в себе вселенную; к тому времени, в котором философия и все искусства, тесно связанные между собою, из общего источника разливали дары свои на смертных, и волшебная сила гармонии, воздвигая стены и образуя общества, в мерных гномах

преподавала человечеству простые, бессмертные законы.

Слабость доводов г. Мерзлякова обнаруживается еще более, когда он приноравливает свою теорию к характеру трех греческих трагиков. Тут тщетно играет его воображение; он теряется в лабиринте мелочных мыслей и часто противоречит даже доказательствам истории и неоспоримой очевидности. Предложим хотя один пример. Г-н Мерзляков, говоря об Еврипиде, объясняется следующим образом: «*Иногда на сцене его являлись государи, униженные судьбою до последней крайности, покрытые рубищами и просящие подаяния на стогнах града. Сии картины, чуждые Есхилу и Софоклу, сначала вскружили умы*». Но это положение совершенно принадлежит Эдипу Колонейскому и, следственно, не могло быть чуждым Софоклу и составить отличительную черту в характере Еврипида. Г-н Мерзляков говорит далее, что *он имел много почитателей как философ:* мне кажется, что тут смешана схоластика с философией. Они имели совсем различный ход и разное влияние. Конечно, схоластика всегда влачилась по стопам философии, но никогда не досягала возвышенных ее понятий и терялась обыкновенно в случайных применениях, распложаясь в сентенциях и притчах. Удивительно ли, что многие частные секты были защитниками Еврипидовых трагедий, когда они все носят печать школы? Но в глазах литератора-философа это не достоинство. Творения Еврипида не отражают души его; в них нет этого совершенного согласия между идеалом и формою, которое так пленяет воображение в Эдипе Колонейском и вообще в трагедиях Софокла. В самых пламенных излияниях его чувств невольно подозреваешь его искренность.

Не буду далее распространяться, чтобы не утомить читателей излишними подробностями. Отдавая им на суд мои замечания на главные предложения г. Мерзлякова, предоставляю им решить, справедливы ли они, или нет. Во всяком случае любопытные могут применить те мнения, которые им покажутся более определенными к характеру каждого из трагиков, и таким образом оценить статью г. Мерзлякова во всех ее ча-

стях. Многие заметят, может быть, что я часто не высказывал своих мыслей и в самых любопытных вопросах налагал на них оковы. Я это делал потому, что понятия, мною кое-где изложенные, требуют подробного развития и постоянной нити в рассуждении, чего не позволяет форма критической статьи, в которой рецензент делается во многих отношениях рабом разбираемого им сочинения.

В дополнение рецензии моей на рассуждение г. Мерзлякова скажу, что если б оно появилось за несколько лет перед сим, то бесспорно бы имело успешное влияние, но теперь уже можно требовать от литератора более самостоятельности. Следы французских суждений исчезают в наших теориях, и Россия может назвать несколько сочинений в сем роде, по всему праву ей принадлежащих. Между ними заслуживает особенного внимания «Амалтея» г. Кронеберга, харьковского профессора. В сей книге не должно искать теоретической полноты и порядка; но в ней заключаются ясные понятия о поэзии, и она доказывает, что автор искренно посвятил себя изящным наукам и следует за их успехами.

Скажем несколько слов о переводах г. Мерзлякова. Они представляют обильную жатву для того, кто бы захотел рассмотреть подробно их красоты. Мы с особенным удовольствием прочли последнюю речь Алцесты, разговор Ифигении с Орестом, предсказание Кассандры и превосходный отрывок из «Одиссеи». Везде виден дух пламенный и язык выразительный. Хоры г. Мерзлякова исполнены лирического огня. Но вообще в слоге его можно бы желать более гибкости и легкости, в стихах более отделки; например, Тезей говорит к Антигоне и Исмене:

Утешьтесь, нежны дщери,
Страдальцу, наконец, в покой отверсты двери.

Здесь слово *покой* представляет явное двусмыслие. Еще можно заметить, что г. Мерзляков, вопреки *тирану — употреблению,* часто в стихах своих вызывает из пыльной старины выражения, обреченные, кажется,

забвению; конечно, чрез такое приращение язык его не беднеет, не теряет свои силы, но он не имеет совершенной плавности, необходимой в нашем веке, как счастливейшая приманка для читателей. Этого нельзя сказать о его прозе, которая всегда останется увлекательной.

Я кончаю так, как начал, уверяя читателей, что одна любовь к науке заставила меня восстать против мнений г. Мерзлякова. Я уверен, что, если критика моя дойдет до него, он сам оправдает в ней по крайней мере намерение, с которым я вооружился против собственного удовольствия, невольно ощущаемого при чтении такого рассуждения, где кисть искусная умела соединить силу выражения со всею прелестью разнообразия.

Sed amicus Plato, magis amicus veritas.

1825

ОТВЕТ г. ПОЛЕВОМУ

Четыре месяца скрылись уже в вечности с тех пор, как я сообщил «Сыну отечества» (в 8 кн.) несколько замечаний на разбор «Евгения Онегина», помещенный в «Московском телеграфе». С того времени многие — во многих журналах восставали против мнений и ошибок г. Полевого, но все критики, без исключения, оставались без ответа: казалось, что г. Полевой смотрел и на все замечания холодным взором совершенного равнодушия; последствие доказало, что равнодушие его было не совсем искреннее и что он дорожил временем для того только, чтобы собраться с силами.

Если бы г. Полевой писал антикритики с тем намерением, чтобы занимать своих читателей литературными прениями, всегда полезными, когда они не выходят из сферы литературы, то, при появлении всякой рецензии, он, конечно, бы заметил мнения, с которыми не согласен, изложил бы свои собственные и предоставил своим читателям судить о победе. Но г. Полевой чуждается литературных споров, нигде не показывает собственного образа мыслей и, как уполномоченный судия в словесности, нигде не терпит суждений других. Для сей цели выбрал он средство совсем новое, но очень простое: ему стоит только вооружиться терпением. Подождав несколько месяцев, он уверен, что читатели почти совсем забыли рецензию, писанную против него, привязывается к нескольким выражениям, вырванным из статьи, рассыпает полную горсть знаков

вопрошения и... торжествует. Выдумка счастливая, сознаемся; но заметим, не во зло ему, что антикритика в таком случае не ответ литератора, а голос досады.

Руководствуемый другою целию, я буду действовать другими способами и постараюсь объяснить себе, как можно лучше, ответ г. Полевого. Он сам сознается, что не понял статьи моей, и «не мог добиться, чего я точно хочу». Я смею уверить г. Полевого, что понял его ответ и добился, что он хочет оправдать свои ошибки; но, к несчастию, это желание осталось безуспешным. В заключение моей рецензии я сказал о разборе г. Полевого, «что желал бы видеть в нем критику, более основанную на правилах положительных». Странно, что теперь г. Полевой не знает, чего я хотел. Если бы он мне доказал, что разбор Онегина был точно основан на правилах верных, представил развитие положительной литературной системы, тогда бы спор наш прекратился или я бы заметил сочинителю разбора, что не во всем согласен с его системою; но г. Полевой не думает о защите собственных мнений и обращает все свое старание на то, чтобы представить мои мысли в смешном виде. Посмотрим, удачно ли он исполняет свое намерение.

Я рад бы сказать, как г. Полевой: «оставим мелочные привязки», но это невозможно, ибо вся статья его наполнена одними «привязками» и в ней нет ни одной мысли, которая бы могла послужить предметом разбора. Впрочем, у всякого свой вкус: один дорожит своими мыслями, другой — своими словами и шутками. Итак, чтобы не оскорбить авторского самолюбия молчанием, пробежим по порядку все остроумные шутки и важнейшие замечания г. издателя «Телеграфа».

Я говорил, что «Пушкин подарил нашу словесность прелестными произведениями». Г-н Полевой восстает против сих выражений и кончает насмешкою и описанием вшествия царя Михаила Феодоровича в Москву. Соглашаюсь, что его насмешка очень забавна, ибо она очень неудачна, но замечание его почитаю несправедливым и даже натяжкою. Словесность тогда только принимается в смысле общем и представляет понятие

целое, нераздельное, когда мы под сим выражением понимаем всю историю просвещения какого-либо народа, всю сферу его умственной деятельности; но в смысле обыкновенном это слово выражает сумму произведений, определяющих одну только степень народной образованности; сию сумму можно умножать, и она всегда умножается; следственно, словесность можно «обогащать и дарить новыми произведениями».

Благодарю г. Полевого за объяснение «равноположных» понятий, но признаюсь, что оно для меня очень неудовлетворительно: он не отгадал моей мысли. Когда я говорил, что «Байрон принадлежит духом не одной Англии, а нашему времени», я хотел сказать (и, кажется, выразился ясно), что Байрон принадлежит характеру не одного народа, но самого века, то есть характеру просвещения в нашем веке — тут «о целой Европе» ни слова. Далее г. Полевой уверяет, что «слово *целый* может относиться к слову *век* тогда[1], если мы примем его в смысле столетия». Но я, к несчастию, недоверчив, и мне кажется, что слово *век*, означая в филологическом смысле полный период образованности и представляя, следственно, понятие определенное, очень терпит прилагательное *целый;* наконец, рецензент мой утверждает, что если б я сказал «Байрон соединил (или, положим, хоть сосредоточил) наклонность своего века, то здесь можно бы понять, что Байрон был, так сказать, отпечатком нынешнего времени», но я очень рад, что этого не сказал. Во-первых, *соединить наклонность века,* очень дурно и неправильно выражает мою мысль: *сосредоточить стремление века;* во-вторых, *Байрон — отпечаток нынешнего времени,* — ничего не значит. Отпечаток нынешнего времени есть характер, дух века. Байрон может носить на себе сей отпечаток, но сам не может быть отпечатком нынешнего времени; при том же большая разница между *нашим веком* и *нынешним временем.* Веку принадлежат те только произведения, по которым потомство определяет характер века; к нынешнему времени относится

---

[1] «Тогда, если». — не чисто по-русски. (*Прим. Д. Веневитинова.*)

все ныне писанное, не исключая даже дурных антикритик.

Но вот венец замечаний г. Полевого: я кончаю период свой следующим образом: «Если б Байрон мог изгладиться в истории частного рода поэзии, то, верно, остался бы в летописях ума человеческого». Толкуя по-своему расположение слов, издатель «Телеграфа» вопрошает: «История поэзии разве не часть летописей ума человеческого?» Поверить ли, что г. Полевой не понял моей мысли? Для всякого случая объясним ее. Если Байрон и мог бы изгладиться в истории трагедии, если бы имя его могло исчезнуть в истории эпопеи и лирической поэзии, то при всем том он, верно, остался бы в летописях ума человеческого, то есть возвышенных мыслей и глубоких чувств. Г-н Полевой продолжает с восклицаниями: «Разве Тредьяковский может изгладиться в сих летописях» (в летописях ума человеческого)? «Никогда! Он будет в них, как памятник стремления к поэзии без таланта. История поэзии повторит все имена, только не равно о всех отзовется». Здесь маленькая ошибка. Г-н Полевой смешивает летописи ума человеческого с памятниками безумия, невежества и бессилия; но если история повторяет все имена, то прошу г. издателя «Телеграфа» назначить мне библиотеку, в которой хранится список всех дурных и посредственных поэтов персидских, индейских, греческих, латинских и проч., а я, с своей стороны, доставлю ему имена всех тех, которые действовали на различные сии народы и определяли их различные характеры. Еще вопрос: если бы история поэзии состояла в собрании имен всех возможных поэтов мира и всех различных отзывов, то кто решился бы посвятить себя изучению такой истории, кто надеялся бы когда-нибудь выпить это море?

Говоря о характере Байроновых произведений, я выразился следующим образом: «Все произведения Байрона носят отпечаток одной глубокой мысли, мысли о человеке в отношении к окружающей его природе, в борьбе с самим собою, с предрассудками, врезавшимися в его сердце, в противоречии с своими чувствами». Это определение называет г. Полевой «набором слов,

неудачным подражанием Ансильонову определению поэзии Гёте и Шиллера». Иной подумает, что г. Полевой подтвердит доказательствами столь решительный приговор; но все решается опять с помощью нескольких знаков вопрошения и посредством восклицания: «Как разгадать мысль г. — *ва?*» Как? Изучив со вниманием творения Байрона и составив себе верное, общее понятие о поэзии. Уверяю г. Полевого, что это лучший способ разгадывать все мысли, для нас новые. Я не распространяюсь об Ансильоновом определении; но спрашиваю всякого беспристрастного человека: имеет ли оно сходство с моею мыслию и можно ли обвинить кого-нибудь в подражании[1], чему же? — определению.

«Если бы должно было выразить характер Байрона, — говорит г. Полевой, — то всего лучше, повторяю, можно назвать его творения эмблемою нашего века». Прекрасно!!! Вот определение! Не то ли самое выразил я, говоря, что Байрон сосредоточил стремление целого века? Не та же ли мысль — разумеется, в новом виде, украшенная пером издателя «Телеграфа»? Но мысль сия определяет только достоинство Байрона, а не характер его, ибо она еще не показывает нам, в чем состоит дух нашего века. Г-н Полевой продолжает: «Я... очень понимал, что говорю[2], когда неопределенным, неизъяснимым состоянием сердца хотел означить сущность и причину романтической поэзии». Не знаю, с каким намерением г. Полевой после крупного «Я» поставил ряд таинственных точек; но желал бы, чтобы он с нами поделился тем, что *очень понимает* и чего мы понять не можем, ибо «неопределен-

---

[1] Г-н Полевой не в первый раз без малейшего основания и единственно по произвольному приговору обвиняет других в подражании. Не он ли недавно говорил о сочинении г. Хомякова: *Желание покоя, что главная мысль сего стихотворения занята из известного Делилева Дифирамба,* — известного, конечно, многим, но, видно, не всем. Я смею уверить издателя «Телеграфа», что главные мысли сих двух сочинений не имеют ни малейшего сходства между собою и что мысль русского поэта и возвышеннее и сильнее выражена. Прочтя обе пьесы, он сам в этом не будет сомневаться. *(Прим. Д. Веневитинова.)*

[2] «Я понимал, что говорю», — на зло всякой грамматике.

ное, неизъяснимое состояние сердца» ничего не определяет, ничего не изъясняет. Далее г. Полевой повторяет мои слова, и снова восклицания: «Опять сбивчивость в словах и понятиях! Кто из поэтов имел рассказ, то есть исполнение поэмы, целию и даже кто из прозаиков в творении обширном? Характер героев можно и не можно почесть связью описаний и проч.». Торжествуйте, г. издатель «Телеграфа»! но оглянитесь и посмотрите, над кем вы смеетесь. Я не удивляюсь, что вы забыли собственные свои мысли; но все сии выражения в статье моей напечатаны курсивом и, следственно, могли бы вам напомнить, что они заимствованы из вашего разбора «Онегина». Примерное добродушие! Мы знаем журналы, в которых забавляют читателей баснями, шутками насчет других, но издатель «Телеграфа» первый собственными мнениями жертвует забаве своих читателей!

После некоторых других вопросов, подобных тем, которые мы видели, г. Полевой продолжает: «Если бы г. — *в* хотел поддержать взведенное на меня мнение, что я равняю Пушкина Байрону, он должен бы противопоставить, например, Дон Жуана Онегину».

Мне кажется противное: я не равнял Пушкина Байрону и, следственно, не буду сравнивать их произведений, следственно, и не понимаю требования г. Полевого и забавного его предложения. «Но точно что-то подобное имел, как я[1] предполагаю (в виду), г. — *в*, делая свой вопрос». (Что такое «Онегин»?) Этот вопрос не мой, а принадлежит г. Полевому, и я, повторяя его, хотел только доказать издателю «Телеграфа», что он этого вопроса решить не может, не прочитав всего романа. «Так, я сказал, — продолжает г. Полевой, — что «Онегин» принадлежит к тому самому роду, к которому принадлежат поэмы Байрона и Гёте». Полевой там сделал ошибку, а здесь ее повторяет. Уверяю его, что Гёте никогда не писал поэм вроде «Дон Жуана», «Беппо» и «Онегина». Гёте написал только две поэмы: «Hermann und Dorothea» и «Reinecke Fuchs»; первая, вроде «Луизы» Фосса, есть также не-

[1] Что точно, того не предполагают. (*Прим. Д. Веневитинова.*)

которым образом идиллия и описывает семейственную жизнь маленьких немецких городков; во второй действуют звери, а не люди; следственно, ни одна не развивает характера образованного человека в быту большого света.

Теперь приступаем к центру, в котором г. Полевой соединил против меня все свое искусство, все свои силы, к тому обвинению, которое заставило меня взять перо и отвечать на антикритику, впрочем, не убийственную. Чуждаясь (может быть, от недостатка времени) вступить в подробное рассмотрение изложенных мною мнений и опровергать их, как литератор, он хотел поразить меня одним ударом и выбрал лучшее средство поссорить меня со всеми образованными читателями, уверяя их, *что я имею скрытное предубеждение против Пушкина*. «Для чего, — говорит он, — закрывать столькими словами мысль, явно видимую, состоящую в том, что г. — *в* почитает Пушкина не великим поэтом, а просто подражателем Байрона?»

«Я сказал прежде, что в «Онегине» есть стихи, которыми одолжены мы памяти поэта, скажу, что и в других его поэмах такие стихи попадаются». Где же эта ясность? Где обнаруживаю я такую мысль! Правда, я смотрю на талант совсем с другой точки, нежели г. Полевой, и уверен, что поэт, как Пушкин, пишет не с памяти, но выражает сильные чувства, сильные впечатления, поселенные в нем самим веком, наклонным к глубокой мечтательности, и Байроном — представителем своего века. Из этого г. Полевой выводит, что Пушкин подражатель. Но объявляю ему, что я не думал писать против «Онегина», восставал против разбора «Онегина», не отказывал г. Пушкину в похвалах, но вооружался против тех, которые наполняли «Телеграф», и до сих пор не понимаю, как г. Полевой смешивает себя с Пушкиным. Для панегириста Пушкина это непростительная ошибка. Скажу более, я не мог писать против «Онегина» по двум причинам: во-первых, потому, что из «Онегина» читал я только первую главу, и в этом случае не хотел подражать г. Полевому, который судит по ней обо всем романе и уверяет теперь bona fide, что он определил сочинение

Пушкина; во-вторых, я почитаю бесполезным писать против всякого поэта. Издатель «Телеграфа» позволит мне объяснить сию вторую причину языком не ученым, но понятным для всякого, — языком, который, следственно, избавит его от лишней траты вопросительных знаков, а меня от лишних буквальных пояснений. Я разделяю вообще поэтов на два класса: на хороших и дурных; хороших читаю, перечитываю и стараюсь определить себе их характер; дурных кладу в сторону. Похвала из уст неизвестного не польстит поэту, но уверяю г. Полевого, что я не раз читал сочинения Пушкина и всегда наслаждался их красотами. Надеюсь, что теперь сам г. Полевой найдет, к чему отнести выражения мои: «целое сочинение может иногда быть одною ошибкою». Чтоб не оставить ни одного замечания г. Полевого без ответа, рассмотрим, как он объяснил применение очерка картины к «Онегину. «В рассуждении «Онегина», — говорит он, — пусть г. — *в* вообразит, что Рафаэль, решившись писать картину из многих лиц, сделал очерк одной головы, и он увидит, что мои слова не без смысла». Не вижу этого. Если мы и сравним весь (положим, существующий) роман «Онегина» с полною картиною, то следует ли из сего, что одну «главу» романа можно сравнить с очерком одной «головы» картины? Кажется, нет: в очерке одной головы мы уже видим весь характер изображаемого лица; но для нас еще сокрыта сцена, его окружающая, отношение его к прочим лицам. Напротив того, в первой главе «Онегина» поэт уже обозначил общество, к которому принадлежит его герой, очертил сферу его действий; но характер еще не развит, он будет развиваться в продолжение всего сочинения, и мы его только предугадываем. Уверен, что картина г. Пушкина будет прекрасна; желаю, чтоб она была подобна Рафаэлевым.

Стараясь в критике моей на разбор «Онегина» различными способами обличить сбивчивость понятий г. Полевого, который ссылался на живопись и на музыку, все неудачно, я в маленьком примечании доказал ему математически, из собственных же слов его, что он не только унизил достоинство Пушкина, но превратил

его в ничто. Г-н Полевой отвечает: «В математическом примере г. — *в* сделал просто ошибку». Это сказано слишком просто; но что сказано, не всегда доказано[1].

Когда г. Полевой утвердительно сказал, что у нас не было ничего сколько-нибудь сносного вроде «Онегина», я напомнил ему о «Модной жене» и о «Душеньке», но он недоволен моим напоминанием. «Модная жена» — сказка, не поэма. Разве «Онегин» — поэма, не роман? Что определяет род поэзии? Название ли произведений, или точка зрения, с которой поэт взирает на предметы? «Душенька» также не идет в сравнение, ибо г. Полевой говорит, «что он разумел те шуточные поэмы, коих предметы заимствованы из общежития». «Дон Жуану», — говорит он, — противополагаю я «Похищенный локон»; что ж и проч.». Г-н Полевой мог бы быть осторожнее. В «Похищенном локоне» действуют сильфы и гномы; прошу его объяснить мне, к какому общежитию принадлежат такие действующие лица.

Мне остается сказать что-нибудь о *народности,* и что я разумею под сим выражением. Я полагаю народность не в черевиках, не в бородах и проч. (как остроумно думает г. Полевой), но и не в том, где ее ищет издатель «Телеграфа». Народность отражается не в картинах, принадлежащих какой-либо особенной стороне, но в самих чувствах поэта, напитанного ду-

---

[1] Трудно полагаться на суждения издателя «Телеграфа» без доказательств. Мы знаем, что он судит о всех науках и искусствах; но он имеет во всех частях сведения совершенно особенные. Не он ли, например, в разборе «Полярной звезды» ставит две словесности в равную параллель? Какой математик разгадает нам такую загадку? Не он ли утверждает, что есть музыка А-мольная? Пусть спросит он у самого ученого музыканта, что такое музыка А-мольная; тот, верно, не найдет ответа. Есть А-мольный тон: могут быть и есть А-мольные симфонии, концерты и т. п., начинающиеся в тоне А-моль, но симфонии и концерты не музыки, а музыкальные произведения. Не в его ли журнале уверяют, *что богиня подарков не могла называться* Strenno потому, что в латинском языке имена женского рода не могут кончаться на слог no? В какой латинской грамматике г. сочинитель нашел постоянное правило для имен женского рода и к какому роду принадлежит имя Juno? Впрочем, об этом говорим только мимоходом. *(Прим Д. Веневитинова)*

хом одного народа и живущего, так сказать, в развитии, успехах и отдельности его характера. Не должно смешивать понятия народности с выражением народных обычаев: подобные картины тогда только истинно нам нравятся, когда они оправданы гордым участием поэта. Так, например, Шиллер в «Вильгельме Телле» переносит нас не только в новый мир народного быта, но и в новую сферу идей: он увлекает, потому что пламенным восторгом сам принадлежит Швейцарии.

Я противоречил г. Полевому на каждом шагу; но надеюсь, что никто не припишет этого упрямству: со всей доброй волею я не мог ни в чем с ним согласиться. Предоставляя читателям судить о достоинстве антикритик, печатанных в «Телеграфе», предлагаю им только на суд мое мнение. Они все, кажется мне, писаны в шутку; ибо кто же не шутя решится опровергать свои собственные мнения, приписывать Гёте поэмы, которых он никогда не писал, утверждать, что предмет «Похищенного локона» взят из общежития и проч., и проч., и проч.? Г-н Полевой простит мне многие шутки, но, написав статью, в которой я изложил некоторую систему литературы, которая, следственно, могла быть предметом литературного спора и заставить с обеих сторон развивать и определять понятия, мог ли я ожидать такого ответа, каким подарил меня издатель «Телеграфа»? Впрочем, обещаю ему вперед никогда не восставать против его замечаний, тем более, что он сам в начале своей статьи против меня объявляет, что замечания его более библиографические, нежели критические: теперь знаю, с какой стороны должно о них судить. Библиограф извещает о появлении книг, описывает их формат, обозначает число листов и страниц, типографию, цену и место продажи, а во всех сих случаях я готов всегда слепо верить г. Полевому.

1825

О СОСТОЯНИИ ПРОСВЕЩЕНИЯ В РОССИИ

Всякому человеку, одаренному энтузиазмом, знакомому с наслаждениями высокими, представляется естественный вопрос: для чего поселена в нем страсть к познанию и к чему влечет его непреоборимое желание действовать? — К самопознанию, — отвечает нам книга природы. Самопознание — вот идея, одна только могущая одушевить вселенную; вот цель и венец человека. Науки и искусства, вечные памятники усилий ума, единственные признаки его существования, представляют не что иное, как развитие сей начальной и, следственно, неограниченной мысли. Художник одушевляет холст и мрамор для того только, чтоб осуществить свое чувство, чтоб убедиться в его силе; поэт искусственным образом переносит себя в борьбу с природою, с судьбою, чтоб в сем противоречии испытать дух свой и гордо провозгласить торжество ума. История убеждает нас, что сия цель человека есть цель всего человечества; а любомудрие ясно открывает в ней закон всей природы.

С сей точки зрения должны мы взирать на каждый народ, как на лицо отдельное, которое к самопознанию направляет все свои нравственные усилия, ознаменованные печатью особенного характера. Развитие сих усилий составляет просвещение; цель просвещения или самопознания народа есть та степень, на которой он отдает себе отчет в своих делах и определяет сферу своего действия; так, например, искусство древ-

ней Греции, скажу более, весь дух ее отразился в творениях Платона и Аристотеля; таким образом, новейшая философия в Германии есть зрелый плод того же энтузиазма, который одушевлял истинных ее поэтов, того же стремления к высокой цели, которое направляло полет Шиллера и Гёте.

С этой мыслию обратимся к России и спросим: какими силами подвигается она к цели просвещения? Какой степени достигла она в сравнении с другими народами на сем поприще, общем для всех? Вопросы, на которые едва ли можно ожидать ответа, которые вопрошающий должен таить про себя или разделить с немногими; ибо беспечная толпа наших литераторов, кажется, не подозревает их необходимости. У всех народов самостоятельных просвещение развивалось из начала, так сказать, отечественного: их произведения, достигая даже некоторой степени совершенства и входя, следственно, в состав всемирных приобретений ума, не теряли отличительного характера. Россия все получила извне; оттуда это чувство подражательности, которое самому таланту приносит в дань не удивление, но раболепство; оттуда совершенное отсутствие всякой свободы и истинной деятельности. Как пробудить ее от пагубного сна? Как возжечь среди этой пустыни светильник разыскания?

Началом и причиной медленности наших успехов в просвещении была та самая быстрота, с которою Россия приняла наружную форму образованности и воздвигла мнимое здание литературы без всякого основания, без всякого напряжения внутренней силы. Уму человеческому сродно действовать, и если б он у нас следовал естественному ходу, то характер народа развился бы собственной своей силою и принял бы направление самобытное, ему свойственное; но мы, как будто предназначенные противоречить истории словесности, мы получили форму литературы прежде самой ее существенности. У нас прежде учебных книг появляются журналы, которые обыкновенно бывают плодом учености и признаком общей образованности, и эти журналы по сих пор служат пищею нашему невежеству, занимая ум игрою ума, уверяя нас некоторым

образом, что мы сравнялись просвещением с другими народами Европы и можем без усиленного внимания следовать за успехами наук, столь быстро подвигающихся в нашем веке, тогда как мы еще не вникли в сущность познания и не можем похвалиться ни одним памятником, который бы носил печать свободного энтузиазма и истинной страсти к науке. Вот положение наше в литературном мире — положение совершенно отрицательное.

Легче действовать на ум, когда он пристрастился к заблуждению, нежели когда он равнодушен к истине. Ложные мнения не могут всегда состояться; они порождают другие; таким образом, вкрадывается несогласие, и самое противоречие производит некоторого рода движение, из которого, наконец, возникает истина. Мы видим тому ясный пример в самой России. Давно ли сбивчивые суждения французов о философии и искусствах почитались в ней законами? И где же следы их? Они в прошедшем или рассеяны в немногих творениях, которые с бессильною упорностью стараются представить прошедшее настоящим. Такое освобождение России от условных оков и от невежественной самоуверенности французов было бы торжеством ее, если бы оно было делом свободного рассудка; но, к несчастию, оно не произвело значительной пользы: ибо причина нашей слабости в литературном отношении заключалась не столько в образе мыслей, сколько в бездействии мысли. Мы отбросили французские правила не от того, чтобы мы могли их опровергнуть какою-либо положительною системою, но потому только, что не могли применить их к некоторым произведениям новейших писателей, которыми невольно наслаждаемся. Таким образом, правила неверные заменялись у нас отсутствием всяких правил. Одним из пагубных последствий сего недостатка нравственной деятельности была всеобщая страсть выражаться в стихах. Многочисленность стихотворцев во всяком народе есть вернейший признак его легкомыслия; самые пиитические эпохи истории всегда представляют нам самое малое число поэтов. Не трудно, кажется, объяснить причину сего явления естественными законами

ума; надобно только вникнуть в начало всех искусств. Первое чувство никогда не творит и не может творить, потому что оно всегда представляет согласие. Чувство только порождает мысль, которая развивается в борьбе и тогда уже, снова обратившись в чувство, является в произведении. И потому истинные поэты всех народов, всех веков были глубокими мыслителями, были философами и, так сказать, венцом просвещения. У нас язык поэзии превращается в механизм; он делается орудием бессилия, которое не может себе дать отчета в своих чувствах и потому чуждается определительного языка рассудка. Скажу более: у нас чувство некоторым образом освобождает от обязанности мыслить и, прельщая легкостью безотчетного наслаждения, отвлекает от высокой цели усовершенствования. При сем нравственном положении России одно только средство представляется тому, кто пользу ее изберет целию своих действий. Надобно бы совершенно остановить нынешний ход ее словесности и заставить ее более думать, нежели производить. Нельзя скрыть от себя трудности такого предприятия. Оно требует тем более твердости в исполнении, что от самой России не должно ожидать никакого участия; но трудность может ли остановить сильное намерение, основанное на правилах верных и устремленное к истине? Для сей цели надлежало бы некоторым образом устранить Россию от нынешнего движения других народов, закрыть от взоров ее все маловажные происшествия в литературном мире, бесполезно развлекающие ее внимание, и, опираясь на твердые начала новейшей философии, представить ей полную картину развития ума человеческого, картину, в которой бы она видела свое собственное предназначение. Сей цели, кажется, вполне бы удовлетворило такое сочинение, в коем разнообразие предметов не мешало бы единству целого и представляло бы различные применения одной постоянной системы. Такое сочинение будет журнал, и его вообще можно будет разделить на две части: одна должна представлять теоретические исследования самого ума и свойств его; другую можно будет посвятить применению сих же исследований к истории

наук и искусств. Не бесполезно было бы обратить особенное внимание России на древний мир и его произведения. Мы слишком близки, хотя повидимому, к просвещению новейших народов, и, следственно, не должны бояться отстать от новейших открытий, если мы будем вникать в причины, породившие современную нам образованность, и перенесемся на некоторое время в эпохи, ей предшествовавшие. Сие временное устранение от настоящего произведет еще важнейшую пользу. Находясь в мире совершенно для нас новом, которого все отношения для нас загадки, мы невольно принуждены будем действовать собственным умом для разрешения всех противоречий, которые нам в оном представятся. Таким образом, мы сами сделаемся преимущественным предметом наших разысканий. Древняя пластика или вообще дух древнего искусства представляет нам обильную жатву мыслей, без коих новейшее искусство теряет большую часть своей цены и не имеет полного значения в отношении к идее о человеке. Итак, философия и применение оной ко всем эпохам наук и искусств — вот предметы, заслуживающие особенное наше внимание, предметы, тем более необходимые для России, что она еще нуждается в твердом основании изящных наук и найдет сие основание, сей залог своей самобытности и, следственно, своей нравственной свободы в литературе, в одной философии, которая заставит ее развить свои силы и образовать систему мышления.

Вот подвиг, ожидающий тех, которые возгорят благородным желанием в пользу России и, следственно, человечества осуществить силу врожденной деятельности и воздвигнуть торжественный памятник любомудрию если не в летописях целого народа, то по крайней мере в нескольких благородных сердцах, в коих пробудится свобода мысли изящного и отразится луч истинного познания.

1825

ОБ «АБИДОССКОЙ НЕВЕСТЕ»

Сия повесть так известна, что не нужно представлять здесь ее содержания. Она не принадлежит к числу тех произведений, в которых Байрон показал всю силу своего гения, и потому не может подать повода к развитию характера сего великого поэта. В переводе И. И. Козлова есть места прекрасные, стихи пресчастливые. Но везде ли сохранен характер подлинника? Козлов доказал нам, что он постигает красоты поэта английского, и мы уверены, что он чувствует живее нас, сколько перевод его отстает от произведения Байрона. Мы же, русские, должны быть благодарны за всякий опыт, доказывающий чувство изящного, рвение к литературе отечественной и трудолюбие.

P. S. В 148 № «Северной пчелы» помещен критический разбор «Абидосской невесты». Длинный приступ, украшенный многими сравнениями (в которых не забыты ни золотые кумиры, ни глиняные ноги, ни деревья, ни каменья, ни заря, ни слабые дети), посвящен тому, чтобы доказать необходимость беспристрастия. Это похвально, но рецензент забыл, что пристрастие не всегда проистекает от намерения недоброжелательного и часто происходит от недостатка способов произнести суд беспристрастный. Мы тогда судим здраво, когда с чистотою намерения соединяем верные понятия о предмете, подлежащем нашему суждению. Si no quae non, как говорит сам рецензент,

или sine qua non, как говорят по-латыни. Автор рецензии, желая доказать неверность перевода Козлова, выставляет свой собственный, буквальный. Например, прекрасные два стиха:

Where the light wings of zephyr oppressed with parfum
Wan faint o'er the gardens of que in her bloom —

переводит он следующим образом: «Где свет дневной быстро разносится зефиром, отягченным благоуханием, где сады украшены полноцветными розами». Если г. рецензент принял light за свет, а wings за глагол, то в стихах Байрона нет ни здравого смысла, ни даже грамматического. The light wings значит — легкие крылья[1]. Следующие стихи переведены с такою же верностью. По этому примеру мы можем видеть, в состоянии ли автор разбора судить о стихах Байрона и сравнивать перевод г. Козлова с подлинником. О слоге, об образе изложения его рецензии мы говорить не будем. Если читатели «Северной пчелы» прочли ее с удовольствием, то их не разуверишь. Подумаем о самих себе; наш P. S. длинен, а читатели, может быть, нетерпеливы.

Напишите что-нибудь в этом роде, разумеется, не так небрежно; я писал с присеста и экспромтом. Это не обидит Козлова и спасет беспристрастие журнала. Я думал, что напишу несколько замечаний, а между тем намарал почти что рецензию.

1826

---

[1] Вот как надобно буквально перевесть эти два стиха: «Где легкие крылья зефира, отягченные благоуханием, изнемогают над садами, в которых восточная роза расцветает во всей красоте своей». *(Прим. Д. Веневитинова.)*

ОБ «ЕВГЕНИИ ОНЕГИНЕ»

Все уже давно приветствовали «Евгения Онегина». «Дамский журнал» поднес ему пучок рифм; «Северная пчела» угостила его своим медом; «Телеграф» также истощил перед ним все свои выразительные знаки[1].

С Онегиным давно познакомились все русские читатели, и нам некоторым образом уже позд[н]о говорить о нем; но, как издатели журнала, мы обязаны прибавить свой голос к голосу общему и сказать о нем хоть несколько слов. Вот наше мнение:

Вторая песнь, по изобретению и изображению характеров, несравненно превосходнее первой. В ней уже совсем исчезли следы впечатлений, оставляемых Байроном, и в «Северной пчеле» напрасно сравнивают Евгения Онегина с Чайльд-Гарольдом. Характер Онегина принадлежит нашему поэту и развит оригинально. Мы видим, что Онегин уже испытан жизнью; но опыт поселил в нем не страсть мучительную, не [сильную] едкую и деятельную досаду, а скуку, наружное бесстрастие, свойственное русской холодности (мы не [смеем сказать] говорим русской лени).

Для такого характера все решают обстоятельства. Если они пробудят в Онегине сильные чувства, мы

---

[1] Пишу на авось, «Телеграф» говорил ли об «Онегине»? *(Прим. Д. Веневитинова.)*

не удивимся: он способен быть минутным энтузиастом и повиноваться порывам души. Если жизнь его будет без приключений, он проживет спокойно, рассуждая умно, а действуя лениво.

[Характеры Ленского и Татьяны также очень живы и много обещают для продолжения романа]. О стихах ни слова. Если мы опоздали говорить о самом Онегине, то хвалить стихи Пушкина и подавно позд[н]о.

1826

РАЗБОР ОТРЫВКА ИЗ ТРАГЕДИИ г. ПУШКИНА,

НАПЕЧАТАННОГО В «МОСКОВСКОМ ВЕСТНИКЕ»

Новые похвалы ничего не могут прибавить к известности г. Пушкина. Его творениями, которые все обнаруживают талант разнообразный и плодовитый, давно восхищается русская публика. Но хотя и блистательны успехи этого поэта, хотя и неоспоримы его права на славу, — все же истинные друзья русской литературы с сожалением замечали, что он во всех своих произведениях до сих пор следовал постороннему влиянию, жертвуя своею оригинальностью — удивлению к английскому барду, в котором видел поэтический гений нашего времени. Такой упрек, столь лестный для г. Пушкина, несправедлив, однако, в одном отношении. При развитии поэта (как вообще при всяком нравственном развитии) необходимо, чтобы воздействие уже зрелой силы обнаружило пред ним самим: каким возбуждениям он доступен. Таким образом, приведутся в действие все пружины его души и подстрекнется его собственная энергия. Первый толчок не всегда решает направление духа, но он сообщает ему полет, и в этом отношении Байрон был для Пушкина тем же, чем были для самого Байрона приключения его бурной жизни. Ныне поэтическое воспитание г. Пушкина, повидимому, совершенно окончено. Независимость его таланта — верная порука его зре-

лости, и его муза, являвшаяся доселе лишь в очаровательном образе граций, принимает двойной характер — Мельпомены и Клио. Давно уже ходили слухи о его последнем произведении «Борис Годунов», и вот новый журнал («Московский вестник») предлагает нам одну сцену из этой исторической драмы, известной в целом лишь нескольким друзьям поэта. Эпоха, из которой почерпнуто ее действие, уже была с изумительным талантом изображена знаменитым историком, которого потерю долго будет оплакивать Россия, и мы не можем отказаться от убеждения, что труд г. Карамзина был для г. Пушкина богатым источником драгоценных материалов. Кто из друзей литературы не заинтересуется тем, как эти два гения, точно из соревнования, рисуют нам одну и ту же картину, но в различных рамках и каждый с своей точки зрения. Все, что мы могли узнать о трагедии г. Пушкина, заставляет нас думать, что если — с одной строны — историк, смелостью колорита, возвысился до эпопеи, то поэт, в свою очередь, внес в свое творение величавую строгость истории. Говорят, что трагедия обнимает все царствование Годунова, кончается лишь со смертью его детей и развертывает всю ткань событий, которые привели к одной из самых необычайных катастроф, когда-либо случавшихся в России. При исполнении такой обширной программы г. Пушкин был, разумеется, вынужден обходить законы трех единств. Во всяком случае, отрывок, который у нас перед глазами, достаточно удостоверяет, что если поэт и пренебрег некоторыми произвольными требованиями касательно формы, то был тем более верен непреложным и основным законам поэзии и не отступал от правдоподобия, которое является результатом той добросовестной смелости, с какою поэт воспроизводит свои вдохновения. Эта сцена, поразительная по своей простоте и энергии, может быть смело поставлена наряду со всем, что есть лучшего у Шекспира и Гёте. Личность поэта не выступает ни на одну минуту: все делается так, как требует дух века и характер действующих лиц. Названная сцена следует непосредственно за избранием Годунова и должна представить

контраст, поистине драматический, с предыдущими сценами, в которых поэт воспроизведет нам то сильное движение, которое должно было сопровождать в столице столь важное для государства событие. Читатель переносится в келью одного из тех монахов, которым мы одолжены нашими летописями. Речь старика дышит тем величавым спокойствием, которое неразлучно с самым представлением об этих людях, удалившихся от мира, чуждых страстям, живущих в прошедшем, — чтобы оно через них говорило будущему. Старик бодрствует при свете лампады, и невольное раздумье при воспоминании об ужасном злодействе останавливает его в минуту, когда он доканчивает свою летопись. Он, однако, обязан довести до потомства сказание о злодействе и снова берется за перо. Вдруг просыпается Григорий — послушник, находящийся у него под руководством. Григория преследует сон, который, в глазах суеверия, показался бы предвещанием бурной будущности и в котором разум видит лишь неопределенное проявление честолюбия, которому еще нет простора. Диалог раскрывает с первых слов противоположность между двумя характерами, так смело и глубоко задуманными. Вы слышите рассказ об убиении отрока Димитрия и уже угадываете необыкновенного человека, который скоро воспользуется именем несчастного царевича, чтобы потрясти всю Россию.

Жажда смелых предприятий, порывистые страсти, которые со временем развернутся в душе Григория Отрепьева, — все это с поразительной правдой рисуется в словах его, обращенных к летописцу:

Как весело провел свою ты младость!
Ты воевал под башнями Казани,
Ты рать Литвы при Шуйском отражал,
Ты видел двор и роскошь Иоанна!
Счастлив! а я от отроческих лет
По келиям скитаюсь, бедный инок!
Зачем и мне не тешиться в боях,
Не пировать за царскою трапезой?

Как хорош контраст этой пылкой души с величавым спокойствием старца, бесстрастного наблюдателя

добродетелей и преступлений своих сограждан, — старца, внушительный взгляд которого производит такое живое впечатление на молодого собеседника!

Ни на челе высоком, ни во взорах
Нельзя прочесть его сокрытых дум;
Все тот же вид смиренный, величавый...
Так точно дьяк, в приказах поседелый,
Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева.

Стихи, приведенные нами, совсем не лучше остальных в этом дивном драматическом отрывке, где красота частностей теряется, так сказать, в красоте целого, где античная простота является рядом с гармонией и верностью выражения — отличительными качествами стихов г. Пушкина. Некоторые читатели, быть может, напрасно станут искать в этом отрывке той свежести стиля, которая видна в других произведениях того же автора; но изящество в современном вкусе, служащее к украшению поэм не столь возвышенного рода, только обезобразило бы драму, где поэт ускользает от нашего внимания, чтобы тем полнее направить его на изображаемые лица. Здесь видим мы торжество искусства и полагаем, что этого торжества г. Пушкин достиг вполне. К тем похвалам, которые нам внушены вполне законным удивлением, прибавим еще желание, — чтобы вся трагедия г. Пушкина соответствовала отрывку, с которым мы познакомились. Тогда не только русская литература сделает бессмертное приобретение, но летописи трагической музы обогатятся образцовым произведением, которое станет наряду со всем, что только есть прекраснейшего в этом роде на языках древних и новых.

1827

О МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

(Ответ Вагнера г-ну Блише)

Вагнер, защищая свои понятия об общей математике, выбирает пример из анатомии, развитый Океном в его философии, и, подчинив законы сего анатомического явления следующей геометрической теореме: *что две параллельные линии, пересекаемые третьею линиею, составляют с сею последнею ровные углы,* доказывает, что сия идея есть *общая* и может найти применения во всех науках и искусствах.

«Из сего примера, — говорит он, — ясно видно, что математическое выражение всякой идеи есть самое чистое и самое общее, что математика, рассматриваемая с такой точки зрения, действительно есть язык идей, язык ума. Так же ясно, что в таком выражении идей заключается и органическая форма вселенной, или закон мира, и что, кроме сего закона мира, не может существовать другой науки, исключая тех, которые, переходя в область частного, развивают изобретение сего закона мира в различных случаях; следственно, математика есть единственная общая наука, единственная философия, и все прочие науки суть только применения сей *исключительно чистой науки,* применения в области духовного или физического»[1].

---

[1] Математика есть наука полная, заключающая в себе самой свою цель и свое начало, она есть даже орган всех наук, но можно ли сказать, что она наука наук, закон мира? Мне кажется, что сие заключение выведено несправедливо. Поста-

Из сего следует, что все науки заимствуют свою реальность от одной математики (как уже доказано вышеупомянутым примером из натуральной философии Окена), что все их истины открываются посредством нее одной и тогда только делаются истинами, когда возвышаются до общего значения.

«Присоединим к доказательству геометрическому другой арифметический пример, и тогда объяснится для нас процесс, которому все повинуется, равно как в духовном, так и в физическом мире. Сей процесс в самом чистом и в самом общем виде выражается

раемся объяснить себе общее понятие о законе мира и определить сферу математики, как науки. Шеллинг в начале своего «Идеалиста» ясно доказал условия всякого познания: итак, познание мира должно разделяться на два понятия: на идею мира (абсолют) и на развитие сей идеи; если же математика есть высшая наука, то не должна ли она существенно разделяться на две части: на науку абсолютной идеи (абсолютного нуля) и на науку проявления сего нуля? Но математика никак не может удовлетворить сему требованию. В обеих частях своих она является наукою мира конечного: в арифметике представляет бесконечное — *нуль* в форме *развития,* в геометрии исследует бесконечное — *точку* в форме *появления.* Конечно, математика есть самая точная, самая свободная наука форм, ибо она никогда не вступает в сферу другой какой-либо науки, но служит напротив того, необходимым условием для всех прочих наук. Она изобретает свои предметы, свои средства. В природе видимой нет точки, нет линии, нет треугольников, они существуют только в идее математика. Отымите у математики все, что ее окружает, и она будет существовать отдельно от всего, сама по себе: но это доказывает только то, что и организм мира имеет все атрибуты целого, единого, бесконечного. Определите грамматику и логику, усовершенствуйте натуральную историю, начертите поэзии постоянную сферу, постоянный ход, и вы увидите, что они все будут отражать постоянный закон мира так же ясно, как и сама математика, с тою только разницей, что предметы их будут находиться вне их, как, например, предмет грамматики и логики в языке и мысли, предмет натуральной истории в царствах природы, и что они все невольно будут выражаться математически. Что же из этого заключить можно? Что математика такое же необходимое условие для всех наук, какое пространство, время и числа для всех явлений мира; но как независимо от мира (организованного) существует идея мира (организация), так и независимо от математики, как познания, существует идея всякого познания, то есть наука первого познания, наука самопознания, или философия. Итак, в некотором смысле математика есть закон мира (организм абсолютный); но одна философия — наука сего абсолюта. *(Прим. Д. Веневитинова.)*

умножением, где переменно и во взаимной зависимости проявляются два числа в третьем синтетическом (сложном). В произведении 5×6 шесть повторяется пять раз, пять — шесть раз, *и так каждый фактор перенесен в форму другого*. Вот теория, или общее выражение, всякой *синтезы*. Так, например, в идее фантазия должна принять форму разума, разум — форму фантазии и т. д.

«Таким образом, математика в общих идеях своих совершенно выражает форму или организм мира; такая математика есть, без сомнения, закон мира, есть наука. Из сего легко можно заключить, что происхождение чисел не что иное, как постепенное развитие единицы, которая сама себя ограничивает, что происхождение фигур в противоположных между собой направлениях жизни составляет линии, пересекающиеся углами или встречающиеся в окружностях. Теперь г-н Блише допустит мне, что арифметика представляет закон мира в форме развития, а геометрия в форме появления, что, следственно, в арифметике заключается натуральная философия, в геометрии — натуральная история. Я присоединяю также к натуральной философии и натуральной истории философию, имеющую предметом то, что подлежит только внутреннему созерцанию, и сию философию называю я частью идеальной философиею (предмет ее о нераздельном), частью историею мира (о человеческом роде); но это нимало не противоречит моему предположению: что натуральная философия относится к натуральной истории, как арифметика к геометрии.

«После сих замечаний г-н Блише согласится со мной, когда я говорю [1], что такая математика, вероятно, была древнейшей наукой древнейших жрецов и исчезла у греков только по смерти Пифагора. — На эту идею о математике опирался я [2], представляя противоположность между древностью и новейшими временами, причем я показал, что древнейшим народам

---

[1] См W a g n e r, Vom Staate.

[2] См. Religion, Wissenschaft, Kunst und Staat in ihren gegenseitigen Verhältnissen betrachtet, Erlangen 1819. *(Прим. Д. Веневитинова).*

закон мира был ясен по враждебному чувству природы, между тем как новейшие могут найти сей закон в одном только умозрении, что сверх того в первые времена бытия человечество, нравственно и физически проникнутое законом мира, находилось к природе в совершенно другом отношении, нежели в новейшие времена.

«Сие отношение древних к природе (которого слабые следы доселе видим мы в животном магнетизме) было простое и непосредственное, между тем как отношение новейших есть одностороннее и искусственное.— Я показал, как впоследствии человек выступил из целого своего существования, раздробился, так сказать, на части, и религия утратила свою чистоту».

После сего Вагнер упоминает об учениях Будды, Моисея и Зороастра преобразовать человека и снова примирить его с природою; он показывает влияние пророков, приуготовивших в нравственном мире перемену, которою ознаменовалось появление Христа.

Потом объясняет он простое отношение первобытного человека к природе, основываясь для сего на законе полярности и развивая действие ума и воли в их соединении. Наконец, распространившись несколько об односторонности опытных познаний и о животном магнетизме, Вагнер заключает статью свою следующим образом:

«Вот точка зрения, с которой я взирал на науку, стараясь объяснить древний мир новейшему. Если я доказал, что органическая форма мира (закон мира) исключительно, ясно и достаточно выражается математикою, то, бесспорно, надобно употреблять все усилия, чтобы усовершенствовать познания сего математического организма, дабы все общие и высокие открытия свободного ума перенеслись в чувство и в законы нравственности, сделали человека царем природы и поставили его на такую степень, на которой бы он, как стройный звук, согласовался с общей гармонией вселенной».

1825

ПИСЬМА К ГРАФИНЕ NN

(Княжне А. И. Трубецкой)

(ПИСЬМО ПЕРВОЕ)

Мог ли я полагать, любезнейшая графиня, что беседы наши завлекут нас так далеко? Начали с простого разбора немецких стихотворцев, потом стали рассуждать о самой поэзии, а теперь уже пишу к вам о философии. Не пугайтесь этого имени; вы сами требовали от меня развития философских понятий, хотя выражались другими словами. Не вы ли сами заметили мне, что одно чувство наслаждения, при взгляде на какое-нибудь изящное произведение, для вас неудовлетворительно, что какое-то любопытство заставляло вас требовать от себя отчета в этом чувстве — спросить, какою силою оно возбуждается, в какой связи находится с прочими способностями человека? Таким образом, сделали вы сами собою первый шаг ко храму богини, которая более всех прочих таится от взоров смертных. Радуясь блистательным вашим успехам, я обещал представить вам, в кратком и простом изложении, такую науку, совершенно удовлетворить вашему любопытству, и это обещание решился я исполнить в настоящих письмах о философии. Впрочем, об имени спорить не будем. Если оно заслужило негодование многих, если большой свет не различает философии от педантизма, то я согласен дать беседам нашим другое название: мы будем не философствовать, будем просто думать, рассуждать... Но к чему

такое замечание? Я знаю вас, графиня, и потому буду смело говорить вам именно о философии. Вы слишком умеете ценить наслаждения умственные, чтобы останавливаться на пустых звуках и не свергнуть оков нелепого предубеждения. Вы знаете, вы всякой день слышите, что философию называют бредом, пустой игрою ума; но в этом случае, верно, никому не поверите, кроме собственного опыта. Итак, испытайте. Если собственный рассудок ваш оправдает сии укоризны, не верьте философии или, лучше сказать, не верьте тому, кто вам представил ее в таком виде. Я сам, начиная письма мои, прошу вас не забывать одного условия, и вот оно: если я на одну минуту перестану быть ясным, то изорвите мои письма, запретите мне писать об этом предмете. Между тем пусть суетные безумцы смеются над нашими занятиями, — мы надеемся стать на такую высоту, с которой не слышен будет презрительный их хохот, а они, несчастные, и так уже довольно наказаны судьбою, которая лишила их способа наслаждаться, подобно вам, благороднейшими наклонностями человека.

Прежде нежели посвятить себя таинствам Елевзинским, вы, конечно, спросите: для чего учреждены они и в чем заключаются; но недаром они таинства, и этого вопроса не делают при входе. Лишь несколько жрецов, поседелых в служении и гаданиях, могли бы отвечать на него. Они хранят глубокое молчание, и вопрошающий получает только один ответ: «Иди вперед, и узнаешь». То же с философией. Вы хотите знать ее определение, ее предмет, и на это я не могу дать вам решительного ответа. Но мы вместе будем искать его в самой науке и потому сделаем другой вопрос: может ли быть наука, называемая философией, и как родилась она? Положим себе за правило: на всем останавливать наше внимание и не пропускать ни одного понятия без точного определения. И потому, чтобы безошибочно отвечать на предложенный нами вопрос, спросим себя наперед: что понимаем мы под словом наука? Если бы кто-нибудь спросил вас: что такое история? Вы бы, верно, отвечали: наука происшествий, относящихся до бытия народов. Что такое арифметика?

Наука чисел и т. д. Следовательно, история и арифметика составляют две науки, но в определении каждой из них заключается ли определение науки вообще? Рассмотрим ответы подробнее. Арифметика — наука чисел. Что это значит? Конечно, то, что арифметика открывает законы, по которым можно разрешать все численные задачи, или, другими словами, что арифметика представляет общие правила для всех частных случаев, выражаемых числами; так, например, дает она общее правило сложения для всех возможных сложений. Если мы таким же образом рассмотрим и другой ответ, то увидим, что история[1] стремится связать случайные события в одно для ума объятное целое; для этого история сводит действия на причины и обратно выводит из причин действия. В обеих сих науках (в арифметике и истории) замечаем мы два условия: 1) каждая из них стремится привести частные случаи в теорию, 2) каждая имеет отдельный, ей только собственный предмет. Применим это к прочим нам известным наукам, и мы увидим, что вообще наука есть стремление приводить частные явления в общую теорию, или в систему познания. Следовательно, необходимые условия всякой науки суть: общее это стремление и частный предмет; другими словами: форма и содержание. Вы позволите мне, любезнейшая графиня, иногда употреблять сии выражения, принятые всеми занимающимися нашим предметом, и потому прошу вас не терять из виду их значения. Впрочем, объяснимся еще подробнее. Если всякая наука, чтоб быть наукою, должна быть основана на каких-нибудь частных явлениях (то есть иметь содержание) и приводить все эти явления в систему (то есть иметь форму), то форма всех наук должна быть одна и та же; напротив того, содержания должны различествовать в науках, например содержание арифметики — числа, а истории — события. Вы теперь видите, что слово «форма» выражает не наружность науки, но общий закон, которому она необходимо следует.

---

[1] История — не как простой рассказ, но как наука; в первом случае она может быть подведена под условия эпической поэзии. *(Прим. Д. Веневитинова.)*

С этими мыслями возвратимся к философии и заключим: если философия — наука, то она необходимо должна иметь и форму и содержание; но как доказать, что философия имеет содержание или предмет особенный, если мы еще не знаем, что такое философия? Постараемся победить это затруднение и примемся за вопрос: как родилась философия?

Все науки начались с того, что человек наблюдал частные случаи и всегда старался подчинять их общим законам, то есть приводить в систему познания. Рассмотрите ход собственных ваших занятий, и это покажется вам еще яснее. Вы начали читать немецких поэтов. Ум ваш, соединив все впечатления, которые получил от них, составил понятие о литературе немецкой и отличил ее от всякой другой, привязав к ней идею особенного характера. Этого мало; из понятий о частных характерах поэтов вы составили себе общее понятие о поэзии, в ней заключили вы идею гармонии, прекрасного разнообразия; словом, вы окружили ее такими совершенствами, которых мы напрасно бы стали искать у одного какого-либо поэта. Ибо поэзия для нас богиня невидимая; лишь отдельно рассеяны по вселенной прекрасные черты ее. Чувство, привыкшее узнавать печать божественного, различило разбросанные черты сии на лицах нескольких любимцев неба; из них сотворило оно идеал свой, назвало его поэзией и воздвигло ему жертвенник. В последнем письме своем ко мне, не довольствуясь одною идеей поэзии и безотчетным наслаждением ею, вы обратили внимание на самое чувство, на действие самого ума. Выписываю собственные слова ваши:

«...Не то же ли я чувствую, удивляясь превосходной мадонне Рафаэля и слушая музыку Бетховена? Не так же ли наслаждаюсь прелестною статуей древности и глубокою поэзией Гёте? Это заставило меня спросить: как могли бы различные предметы породить одно и то же чувство, если это чувство, эта искра изящного не таилась в душе моей прежде, нежели пробудили ее предметы изящные. Я до сих пор не нахожу ответа и т. д.». Мы найдем его, любезнейшая графиня, вы сами его найдете; но не здесь ему место, и мы

возвратимся теперь к предмету, чтобы не выпустить из рук Ариадниной нити.

Как развились собственные ваши понятия, так постепенно развивались и науки. В сем развитии, как вы сами можете заметить, находятся различные степени, определяющие степени образования. Чем более наука привела частные случаи в общую систему, тем ближе она к совершенству. Следовательно, совершеннейшая из всех наук будет та, которая приведет все случаи или все частные познания человека к одному началу. Такая наука будет не математика, ибо математика ограничила себя одними измерениями; она будет не физика, которая занимается только законами тел, словом, она не может быть такою наукою, которая имеет в виду один отдельный предмет; напротив того, все науки (как частные познания) будут сведены ею к одному началу, следовательно, будут в ней заключаться, и она по справедливости назовется наукою наук. Но мы выше заметили, что всякая наука должна иметь содержание и форму; посмотрим, удовлетворяет ли сим условиям наука, которую мы теперь нашли и которую, по примеру многих столетий, назовем философиею.

Если философия должна свести все науки к одному началу, то предметом философии должно быть нечто, общее всем прочим наукам. Мы доказали выше, что все науки имеют одну общую форму, то есть приведение явлений в познание; следовательно, философия будет наукою формы всех наук или наукою познания вообще. Итак, содержание ее будет познание, не устремленное на какой-нибудь особенный предмет; но познание как простое действие ума, свойственное всем наукам, как простая познавательная способность. Формою же философии будет то же самое стремление к общей теории, к познанию, которое составляет форму всякой науки. Заключим: философия есть наука, ибо она есть познание самого познания, и потому имеет и форму и предмет.

Впоследствии мы увидим, как все науки сводятся на философию и из нее обратно выводятся: но для примера припомним опять то, что вы сами чувствовали. Вы видели мадонну — и она привела вас в вос-

торг; вы спросили: отчего эта мадонна прекрасна? и на это отвечала вам наука прекрасного, или эстетика; но вы спросили: отчего чувствую я красоты сей мадонны? какая связь между ею и мной? — и не могли найти ответа. Он принадлежит, как мы увидим впоследствии, к философии; ибо тут дело идет не о законах прекрасного, но о начале всех законов, об уме познающем, принимающем впечатления.

Я не скрою от вас, что философия претерпела удивительные перемены и долго была источником самых несообразных противоречий. Какая наука не подлежала той же участи? Замечательно, однакож, что она всегда почиталась наукою важнейшею, наукою наук, и, несмотря на то, что обыкновенно была достоянием небольшого числа избранных, всегда имела решительное влияние на целые народы. Впоследствии мы заметим это влияние, особенно у греков. Мы увидим, как философия развилась в их поэзии, в их самой жизни и стремилась свободно к своей цели. Ученые спорили между собою, противоречили друг другу, опровергали системы и на развалинах их воздвигали новые; и при всем том наука шла постоянным ходом, не изменяя общего своего направления. Божественному Платону предназначено было представить в древнем мире самое полное развитие философии и положить твердое основание, на котором в сии последние времена воздвигнули непоколебимый, великолепный храм богини. Через несколько времени я буду советовать вам читать Платона. В нем найдете вы столько же поэзии, сколько глубокомыслия, столько же пищи для чувства, сколько для мысли.

Мы не будем разбирать различных определений философии, изложенных в отдельных системах. Иные называли ее наукою человека, другие — наукою природы и т. п. Мы доказали себе, что она наука познания, и этого для нас довольно; и с этой точки будем смотреть на нее в будущих наших беседах.

1826

[ПИСЬМО О ФИЛОСОФИИ]

(ПИСЬМО ВТОРОЕ)

Что такое философия и каков предмет ее? Эти вопросы, казалось бы, должны быть первыми вопросами философии. Мы привыкли при изучении всякой науки объяснить себе наперед предмет ее. Здесь совершенно противное. Для того чтобы определить себе, что такое философия, надобно пройти полную систему науки, и ответ на сей вопрос будет ее результатом. Отчего бы это так было? Неужели философия не есть в полном смысле наука? Неужели она не имеет предмета определенного и основана на одном предположении мечтательном? Напротив, оттого, что она есть единственная самобытная наука, заключает в себе самый предмет свой; между тем как другие науки, так сказать, приковывают ум к законам нескольких явлений, произвольно полагая ему границы во времени или в пространстве, она вырывается из самой свободы ума, не подчиняясь никаким посторонним условиям. Математика есть также наука свободная: точка, линии, треугольники суть некоторым образом ее произведения, но математика занимается одними произведениями своими и тем ограничивает круг свой, между тем как философия обращает все свое внимание на самое действие. Всякая наука довольствуется познанием своего предмета или, лучше сказать, познает только законы избранных ею явлений; одна философия исследует законы самого познания и потому по всей справедливо-

сти, во все времена, называлась наукою наук, наукою премудрости.

Если философия занимается не произведением ума, но его действием, то она необходимо должна преследовать это действие в самой себе, то есть в самой науке, и потому первый вопрос ее должен быть следующий: что есть наука или вообще что такое знание?

Всякое знание есть согласие какого-нибудь предмета с представлением нашим о сем предмете. Назовем совокупность всех предметов *природою,* а все представления сих предметов или, что все одно, познающую их способность *умом* и скажем: знание в обширном смысле есть согласие природы с умом.

Но ум и природа рождают в нас понятия совсем противоположные между собой: каким же образом объяснить их взаимную встречу во всяком знании? Вот главная задача философии. На этот вопрос нельзя отвечать никакою аксиомою, ибо всякая аксиома будет также знанием, в котором снова повторится встреча предмета с умом, или объективного с субъективным. Итак, разрешить сию задачу невозможно. Один только способ представляется философу: надобно ее разрушить, то есть отделить субъективное от объективного, принять одно за начальное и вывести из него другое. Задача не объясняет: который из сих двух факторов знания должен быть принят за начальный, и здесь рождаются два предположения:

1. Или субъективное есть *начальное;* тогда спрашивается, каким образом присоединилось к нему ему противоположное, объективное.

2. Или объективное есть начальное. Тут вопрос, откуда взялось субъективное, которое с ним так тесно связано.

В обширнейшем значении сии два предположения обратятся в следующие:

1. Или природа всему причина; но как присоединился к ней ум, который отразил ее?

2. Или ум есть существо начальное; то как родилась природа, которая отразилась в нем?

Если развитие сих двух предположений есть единственное средство для разрешения важнейшей задачи

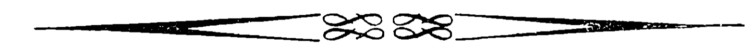
философии, то сама философия необходимо должна, так сказать, распасть на две науки равносильные, из которых каждая будет основана на одном из наших предположений и которые, выходя из начал совершенно противоположных, будут стремиться ко взаимной встрече для того, чтобы в соединении своем вполне разрешить задачу, нами выше предложенную, и образовать истинную науку познания.

Сии науки, само собою разумеется, должны быть— наука объективного, или природы, и наука субъективного, или ума, другими словами: естественная философия и трансцендентальный идеализм. Но так как объективное и субъективное всегда стремятся одно к другому, то и науки, на них основанные, должны следовать тому же направлению и одна устремляться к другой, так что естественная философия в совершенном развитии своем должна обратиться в идеализм и наоборот.

[1826]

ПРИМЕЧАНИЯ





На протяжении ста с лишним лет после смерти Дмитрия Веневитинова его произведения издавались неоднократно. В 1829—1831 годах вышло первое посмертное собрание сочинений в двух томах — «Стихотворения и проза». Это издание было повторено в 1855 году А. Смирдиным без изменений. Следующее издание, вышедшее под редакцией А. П. Пятковского в 1862 году, отличалось от предшествующих принципами датировки, не во всех случаях достаточно обоснованными. Все эти издания не удовлетворяли научным требованиям как в отношении текстов, так и в смысле полноты.

Издания послереволюционного времени сохраняли в основном все особенности предшествующих.

Ставшие известными в последнее время рукописные фонды архива Веневитинова позволили внести существенные коррективы: восстановить цензурные и прочие купюры, устранить искажения, значительно пополнить состав Так, например, была найдена неизвестная рукопись исторической поэмы «Евпраксия», две главы незаконченного романа «Владимир Паренский» и перевод второго акта трагедии Гёте «Эгмонт».

Собрание избранных сочинений Д. Веневитинова содержит все основные произведения за исключением некоторых мелких, незаконченных. В издание включены оригинальные и переводные стихотворения, поэмы и драмы, проза и статьи литературно-критического и философского характера. Издание осуществляется с учетом всех имеющихся и вновь найденных материалов, хранящихся в Гос. библиотеке СССР им. Ленина, Гос. историческом музее, Публ. библиотеке им. Салтыкова-Щедрина, Институте русской литературы АН СССР, Центр. архиве литературы и искусства, Гос. литературном музее и Центр. музее музыкальной культуры.

Произведения располагаются в хронологическом порядке. В расположении стихотворений в основном сохранен порядок первого посмертного собрания. Тексты сверены заново с автографами, цензурные купюры восстановлены, замеченные искажения устранены.

Произведения, публиковавшиеся при жизни поэта, даются по первопечатным текстам, сверенным с автографами. Разночтения оговариваются в примечаниях в каждом отдельном случае. Произведения, не публиковавшиеся при жизни, печатаются по сохранившимся автографам.

Приняты следующие условные сокращения:

ЛБ — Гос. библиотека СССР им. Ленина, Москва.

ГИМ — Гос. исторический музей, Москва.

ГПБ — Гос. публичн. библиотека РСФСР им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

ИРЛИ — Институт русской литературы АН СССР, Ленинград.

ЦГЛА — Центр. гос. архив литературы и искусства, Москва.

ГЛМ — Гос. литературный музей, Москва.

ЦММК — Центр. музей музыкальной культуры, Москва.

Р. Ц. — Разрешение цензуры.

Соч 1829. — Соч. Д. В Веневитинова, Часть первая, Стихотворения. С краткой биографией. В тип. С. Селивановского. М 1829. Стр. VI+II+129.

Соч. 1831. — Соч. Д. В. Веневитинова, Часть вторая, Проза. С предисловием. В тип. С. Селивановского. М. 1831. Стр. XVI+120.

Собр. соч. 1862. — Полн. собр. соч. Д. В. Веневитинова. Изд. под ред. А. П. Пятковского. С прилож. портрета, факсимиле и статьи о его жизни и сочинениях. Тип. О. Бакста. СПБ. 1862. Стр. 263.

Собр. соч. 1934. — Д. В Веневитинов, Полн. собр. соч. под ред. и с прим. Б. В. Смиренского, с прилож. свода биогр. данных и библиографии. Вступительная статья Д. Благого. Гравюры на дереве Э. Будогосского. Изд. Academia, М.—Л 1934. Стр. 538 с 27 иллюстр.

СТИХОТВОРЕНИЯ

К друзьям. Стр. 29.

Впервые напечатано в Соч. 1829, ч. I, стр. 1. Текст дается по этому изданию.

[*Знамения перед смертью Цезаря*] (Вергилий). Стр. 30.

Свободный перевод из поэмы «Георгики» Публия Вергилия Марона (70 — 19 гг. до н. э.). Впервые напечатано в Соч. 1829, ч. I, стр. 3—5. Текст дается по автографу ЛБ. Последние две строки публикуются впервые.

К друзьям на Новый год. Стр. 32.

Впервые напечатано в Соч. 1829, ч. I, стр. 6 под датой 1823. Текст дается по этому изданию. Обращение к друзьям — «не забывать и звуков лирных среди Петропольских затей» — следует понимать как призыв продолжать литературную деятельность и в Петербурге, куда друзья Веневитинова (Кошелев, Одоевский, Норов) переезжали в 1826 году.

Веточка (Грессе). Стр. 33.

Перевод стихотворения «En promenant vos reveries» Жан Батиста Грессе (1709—1777). Впервые напечатано в Соч. 1829, ч. I, стр. 8—9, без указания заимствования. Текст дается по этому изданию. Французский подлинник стихотворения см. Собр. соч. 1934, стр. 446. Ранее было переведено В. Л. Пушкиным и Д. В. Давыдовым. Последние 4 строки не являются переводом — они дописаны Веневитиновым.

[*Песнь Кольмы*] (Макферсон). Стр. 35.

Перевод отрывка «Ночь» из поэмы Оссиана «Кольна Донна», изданной в 1760 году Джемсом Макферсоном. Впервые напе-

чатано в Соч. 1829, ч. I, стр 14—15. Текст дается по автографу ЛБ. Перевод сделан Веневитиновым с французского текста Летурнера. Эту же поэму переводили А. Пушкин в 1814 году («Подражание Оссиану») и Е. Костров в 1818 году («Оссиан, сын Фингалов, бард III века. Гальские стихотворения», СПБ, 1818).

[*К Скарятину*] (При посылке ему водевиля). Стр. 37.

Впервые напечатано в Соч. 1829, ч. I, стр. 16—18 с подзаголовком: «При посылке ему водевиля». В Собр. соч. 1862 в примечании говорится: «Водевиль этот состоял из нескольких отрывочных сцен и был написан для домашнего спектакля. Он хранился долгое время у А. В. Веневитинова». Имеется в виду «Fête impromptu» («Нежданный праздник») — французский водевиль Д. Веневитинова, написанный к именинам Зинаиды Волконской. Текст стихотворения дается по автографу ЛБ, имеющему черновые варианты против печатной редакции. Таково, например, окончание:

Стремясь душою к тишине,
Ты вспомнишь, может быть, невольно обо мне
И, чуждый шумных сил веселий,
Взглянув нечаянно на этот список мой,
Промолвишь про себя: мы некогда умели
Пристойность сочетать с забавой и игрой.

Скарятин Ф Я. (1806—1835) — друг Веневитинова, художник, декабрист, служивший в драгунском полку.

[*Сонет*] (К тебе, о чистый Дух...). Стр. 39.

Впервые напечатано в Соч. 1829, ч. I, стр. 19, под датой 1825 Печатается по автографу ЛБ, написанному на оборотной стороне прошения А. Н. Веневитиновой в опеку от сентября 1824 года; под стихотворением — эпиграмма А. Пушкина на Каченовского «Охотник до журнальной драки» (1824); это дает основание отнести сонет к 1824 году.

[*Сонет*] (Спокойно дни мои цвели...). Стр. 40.

Впервые напечатано в Соч. 1829, ч. I, стр. 20—21. Текст дается по автографу ЛБ, имеющему в конце приписку: «Спокойно — есть ложное выражение для певца, столь исполненного страсти, что его пламенные порывы не могут сравниваться ни с свирепостью разъяренных волн, ни с треском грома, ни с завываниями бури». Приписка публикуется впервые.

[Смерть Байрона] (Четыре отрывка из неоконченного пролога). Стр. 41.

Впервые напечатано в Соч. 1829, ч. I, стр. 22—26. Печатается по этому изданию за исключением второго отрывка, который дается по автографу ЛБ.

Песнь грека. Стр. 44.

Впервые напечатано в альманахе «Северные цветы на 1827 г.», стр. 292—294 (Р. Ц. 18 января 1827 г.). Текст воспроизводится по этому изданию.

Любимый цвет (Посвящено Софье Владимировне Веневитиновой). Стр. 46.

Впервые напечатано в альманахе «Северная лира на 1827 г.», стр. 425—427, по которому и дается текст. Написано ко дню рождения сестры поэта Софьи. Автограф ГИМ имеет вариант в 30-й строке:

Улыбкой нежною, прелестной.

К. И. Герке (При послании трагедии Вернера). Стр. 48.

Впервые напечатано в Соч. 1829, ч. I, стр. 33—35. Текст дается по этому изданию.

Герке К. И. — гувернер Веневитинова.

Вернер Захария (1768—1823) — немецкий писатель-романтик, автор трагедии «Мартин Лютер и освящение силы (Martin Luther und die Weihe der Kraft)», 1807.

Послание к Рожалину (Я молод, друг...). Стр. 50.

Впервые напечатано в Соч. 1829, ч. I, стр. 36—37. Текст дается по этому изданию. Рожалин Н. М. (1805—1834) — друг поэта и редактор посмертного собрания его сочинений.

Поэт. Стр. 51.

Впервые напечатано в журнале «Московский вестник», 1827, ч. II, № 5, стр. 34 (Р. Ц. 21 февр. 1827 г.), по которому и дается текст. В посмертном собрании сочинений стихотворение «Поэт» открывало собою «второе отделение», датированное общей датой «С 1826 по 1827 год». Автограф ЦГЛА имеет вариант 14-й строки: «На все покойно он взирает». Список, приведенный в письме фон дер Флита к декабристу Ф. Н. Глинке (ЦГЛА), имеет вариант 31-й строки: «И снова тихий и стыдливый...»

Новгород (Посвящено кн. А. И. Трубецкой). Стр. 53.

Впервые напечатано в Соч. 1829, ч. I, стр. 43—45 с подзаголовком «Посвящено К. А. И. Т.». Печатается по автографу ЛБ в том виде, в каком Веневитинов хотел, чтобы стихотворение «появилось в свет» (см. об этом вступ. статью). Предназначая стихотворение для печати, Веневитинов внес в текст некоторые поправки, однако оно было все же запрещено цензурой 7 февраля 1828 года.

Моя молитва. Стр. 55.

Впервые напечатано в журнале «Московский вестник», 1827, ч. I, № 2, стр. 93 (Р. Ц. 7 декабря 1826 г.); текст — по этому изданию.

Жизнь. Стр. 56.

Впервые напечатано в журнале «Московский вестник», 1827, ч. I, № 3, стр. 168. Дата определяется по письму Ф. Хомякова к брату от 3 декабря 1826 года. Хомяков видел в стихотворении вариации на слова Шекспира: «Жизнь скучна, как сказка, дважды рассказанная засыпающему» (в третьем акте драмы «Король Иоанн»). Текст дается по журналу. Автограф ЛБ содержит остававшуюся до сих пор неизвестной редакцию:

В начале жизнь, как рай для нас,
Все ново в ней, все занимает
И как причудливый рассказ
Воображать нас заставляет.
Кой-что страшит издалека,
Но в этом страхе наслажденье:
Он греет в нас воображенье,
Как о волшебном приключеньи
Ночная повесть старика.
Но перестанет блеск игривый!
Мы привыкаем к чудесам —
Потом на все глядим уныло,
Потом и жизнь постыла нам:
Ее загадка и развязка
Уже длинна, стара, скучна,
Как пересказанная сказка
Усталому пред часом сна.

В списке ЛБ (в тетради Виктора Закревского) строка 14 читается: «Ее загадка и развязка».

Послание к [*Рожалину*] (Оставь, о друг мой...). Стр. 57.

Впервые напечатано в Соч. 1829, ч. I, стр. 49—52. Текст дается по этому изданию.

Завещание. Стр. 60.

Впервые напечатано в альманахе «Северные цветы на 1829 г.», стр. 73. При напечатании в Соч. 1829, ч. I, стр. 53 слова «вольный дух» были заменены цензурой на «вечный дух», слова «час последнего страданья» — на «глас последнего страданья». Печатается по цензурному списку.

К моему перстню. Стр. 62.

Впервые напечатано в Соч. 1829, ч. I, стр. 56—57. Фотография перстня помещена в Собр. соч. 1934, стр. 115. Текст стихотворения дается по автографу ЛБ с пометкой «В». Строка «Тебя в прощаньи не забуду» публикуется впервые. Кроме текста, написанного чернилами, автограф содержит карандашные первоначальные варианты:

3. И снова ты в пыли могильной
4. Найдешься, перстень верный мой
9. Нет, дружба в горький день прощанья
12. Будь мне ты верный талисман
17. От милых сердцу заблуждений
20. И унованьем оживи
23. Оно отчаяньем заноет
24. Оно замыслит истребить
33. Мой верный перстень не снимал
39. Что кто-то прах встревожит мой
44. И утешеньем будешь ей
45. Как был ты мне, мой перстень верный.

[*Кинжал*] (Оставь меня, забудь меня!). Стр. 64.

Стихотворение предназначалось для альманаха «Северные цветы...», но было запрещено цензурой 21 января 1827 года в связи с тем, что автор, представляя «человека, преднамеревающегося совершить самоубийство, заставляет его произносить ложные мысли об аде». Впервые напечатано в 1913 году в газете «День», № 219. Текст дается по автографу ЛБ с отсутствующей 21-й строкой, которая, очевидно, одинакова с 1-й и 11-й.

Три розы. Стр. 65.

Впервые напечатано в альманахе «Северные цветы на 1827 г.», стр. 229—230 (Р. Ц. 18 января 1827 г.), по которому и дается текст. Список ЛБ рукою Рожалина имеет вариант в 10-й строке: «И если кто цветок сорвет...»

Три участи. Стр. 67.

Впервые напечатано в Соч. 1829, ч. I, стр. 60—61. Текст дается по автографу ЛБ с подписью Д. Веневитинова.

Стихотворение было послано Веневитиновым С. П. Шевыреву 28 января 1827 года для помещения в журнале «Московский вестник». В письме к брату от 14 февраля Веневитинов писал: «Попробуй отдать мои «Участи» в цензуру».

Домовой. Стр. 68.

Впервые напечатано в Соч. 1829, ч. I, стр. 62—63. Текст дается по автографу ЛБ с надписью на обороте «O Alexis» (обращение к брату Алексею).

К Пушкину. Стр. 69.

Впервые напечатано в Соч.1829, ч. I, стр. 64—66. Текст — по этому изданию. «Пророком свободы» Веневитинов называет Байрона, которому «хвалебным громом прозвучали» стихи Пушкина (см. «К морю», 1824). Под «музами похищенным Галлом» подразумевается поэт А. Шенье, которому Пушкин посвятил стихи.

К любителю музыки. Стр. 71.

Впервые напечатано в Соч. 1829, ч. I, стр. 67—68, с пропуском строк 15—18, выпущенных цензурой. Они были опубликованы в 1913 году в газете «День», № 219. Текст дается по автографу ЛБ. В стихотворении чувствуется влияние оды Шиллера «Гимн радости», исполняемой хором в Девятой симфонии Бетховена — композитора, любимого Веневитиновым.

[*Утешение*] (Блажен, кому судьба вложила в уста...). Стр. 73.

Впервые напечатано в Соч. 1829, ч. I, стр. 69—70. Текст дается по автографу ЛБ. Строка 34: «В нежданном пламени речей» — публикуется впервые.

[*Жертвоприношение*] (О жизнь, коварная сирена). Стр. 75.

Впервые напечатано в журнале «Московский вестник», 1827, ч. II, № 6 (Р. Ц. 21 февраля 1827 г.), стр. 119. Текст дается по автографу ЛБ. Недостававшая в первопечатном тексте и во всех последующих изданиях строка 9: «Меня не тешит ложный сон» — публикуется впервые. Ответ неизвестного автора на это стихотворение («Нет! жизнь, коварная сирена, не заключила дней твоих в оковы гибельного плена, и ангел смерти сбросил их») был напечатан на смерть Веневитинова в «Дамском журнале», 1827, № 7, стр. 58.

К изображению Урании. Стр. 77.

Впервые напечатано в Соч. 1829, ч. I, стр. 73. Текст дается по автографу на нотной тетради В. Ф. Одоевского, хранящейся в ЦММК. На рисунке Скарятина с подписью «Одоевского муза» изображена муза астрономии Урания с пятью звездами над ней. Фотокопию автографа см. в работе Б. Б. Грановского «В. Ф. Одоевский — музыкальный критик». М. 1952.

Об этом стихотворении В. Ф. Одоевский писал М. П. Погодину 20 апреля 1827 года: «Стихов прилагаемых ни у кого нет, кроме меня. Одни написал он, встречая у меня Новый год (см. следующее стихотворение. — *Б. С.);* другие — на моей нотной книге, на которой Скарятин нарисовал богиню с пятью звездами. Могу также доставить два музыкальных произведения Димитрия — музыку на «Ночной зефир» (Пушкина). Мне бы хотелось издать их вместе с сочинениями моего друга, чудно соединявшего в себе все три искусства» (Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, т. II, стр. 91).

[На Новый (1827) год]. Стр. 78.

Впервые напечатано в журнале «Московский вестник», 1828, ч. VIII, № 5, стр. 3—4, с датой «Полночь на 1 января». Текст дается по автографу ГПБ (архив В. Ф. Одоевского).

Крылья жизни (Мильвуа). Стр. 79.

Впервые напечатано в журнале «Московский вестник», 1828, ч. VII, № 1, стр. 13—14, с припиской: «Это одна из пьес покойного Д. В. Веневитинова, которые издадутся в полном собрании его сочинений». Текст дается по автографу ЛБ. Источником стихотворения послужила аллегорическая басня Шарля Мильвуа (1782—1816) — французского поэта, преемника Парни — «Радость и горе». Точный перевод ее сделан поэтом-петрашевцем Сергеем Дуровым («Библиотека для чтения», 1845, т. XVIII, стр. 15—16).

Италия. Стр. 81.

Впервые напечатано в журнале «Московский вестник», 1827, ч. II, стр. 311—312. Текст дается по автографу ЛБ. В Соч. 1829 строка 18 была напечатана: «Я вызову их тени из гробов».

Торквато Тассо (1544—1595) — итальянский поэт.

Элегия. Стр. 82.

Впервые напечатано в Соч. 1829, ч. I, стр. 79. Текст дается по списку ЛБ.

К моей богине. Стр. 83.

Впервые напечатано в Соч. 1829, ч. I, стр. 81—83. Текст дается по автографу ЛБ, с припиской на французском языке: «Cette pièce est très imparfaite, je le sens moi-même; mais c'est une de ces productions auxquelles on ne touche pas deux fois. Elle est dédi'el à ma divinité, et cette dedicace n'est pas simplement poétique. La raison a son Dieu, qu'elle cherche, qu'elle trouve et qu'elle admire; pourquoi le coeur n'aurait il pas sa réligion?» (Эта пьеса очень несовершенна, я это чувствую сам; но это — одно из произведений, к которым не прикасаются дважды. Оно посвящено моему божеству, и это посвящение — не только поэтическое. Разум имеет своего бога, которого ищет, которого находит и которым восхищается; почему сердцу не иметь своей религии?)

Вносилось на обсуждение Цензурного комитета 31 января 1828 года в связи со словами: «дани раболепной службы носить кумиру суеты». Было разрешено к печати «поелику выражение «раболепная служба» не может относиться к службе государственной» (Лит. музеум, П. 1921, стр. 344—345). Приписка была опубликована в 1914 году в «Голосе минувшего», № 5, стр. 312.

Я чувствую, во мне горит святое пламя вдохновенья. Стр. 85.

Впервые напечатано в Соч. 1829, ч. I, стр. 84—85, под номером «XXXV», хотя по порядку являлось в собрании 36-м. Текст дается по автографу ЛБ.

Поэт и друг. Стр. 87.

Впервые напечатано в журнале «Московский вестник», 1827, ч. II, № 7, стр. 217—218 (Р. Ц. 21 февраля 1827 г.), с подзаголовком «Элегия», с припиской редакции: «Горькими слезами омочили мы сие стихотворение» (автора уже не было в живых). Текст дается по этому журналу. Последняя строка стихотворения: «Как знал он жизнь, как мало жил!» — вырезана на памятнике на могиле поэта.

[*Последние стихи*] (Люби питомца вдохновенья...). Стр. 90.

Впервые напечатано в Соч. 1829, ч. I, стр. 90, где слово «власти» было заменено на «тайны». Текст дается по списку ЛБ, в котором слово «власти» отмечено красным карандашом цензора.

Освобождение Скальда (Скандинавская повесть). Стр. 93.

Впервые напечатано в журнале «Русская старина», 1914, № 4, стр. 120—127. Текст дается по этому изданию. Относится к 1823—1824 годам, когда Веневитинов переводил Оссиана.

Евпраксия (Поэма). Стр. 100.

Публикуется полностью впервые по автографу ЛБ. В Соч. 1829 г. и всех последующих изданиях печатались «два отрывка из неоконченной поэмы» под датой 1824: первый — 42 строки (здесь 1-я и 3-я строфы песни I) и второй — 41 строка (здесь 1-я строфа песни II).

Сюжет поэмы подсказан событиями татарского нашествия 1237 года и соответствует изложению Н. М. Карамзина, который говорит: «Князь Юрий, защищавший Рязань, послал к Батыю своего сына Федора с дарами. Узнав о красоте жены Федора Евпраксии, Батый потребовал отдать ее ему в наложницы, но юный князь отказал «злочестивому язычнику», и Батый приказал умертвить его. Узнав о гибели мужа и не дожидаясь позора, Евпраксия сбросилась с городской стены вместе с младенцем Иоанном... На месте гибели Евпраксии на берегу реки Осетр (приток Оки) поставили памятник» (Карамзин, История государства Российского, 1816, т. III, стр. 270).

Земная участь художника (Гёте). Стр. 107.

Впервые напечатано в Соч. 1829, ч. I, стр. 95—101. Печатается по этому изданию. В автографе ЛБ, за подписью Веневитинова, отсутствует начало до слов: «Тогда вы были помоложе». Поэма является переводом драмы Гёте «Земной путь художника» (Künstlers Erdewallen) в 2-х сценах, 1774.

Апофеоза художника. Стр. 112.

Перевод драмы Гёте (Künstlers Apotheose), 1788 года. Впервые напечатано в Соч. 1829, ч. I, стр. 102—116. Текст дается по автографу ЛБ, в котором пропущены строки от слов: «В прекрасном мире впечатленья»—до слов: «Теперь взгляните: вот она!» Строки: «Но здесь не нужны украшенья. Взгляните: вот произведенье!» — публикуются впервые.

Отрывки из «Фауста». Стр. 122.

I. *Фауст и Вагнер.*

Отрывок представляет собой «Сцену за городом» (Vor dem Thor) — стихи 711—788 по немецкому подлиннику. Впервые напечатано в Соч. 1829, ч. I, стр. 119. Текст воспроизводится по этому изданию.

II. *Песнь Маргариты.* Стр. 125.

Отрывок из сцены 15 «Гретхен за прялкой» (Gretchens Stube) — стихи 3018—3050 подлинника. Впервые напечатано в Соч. 1829, ч. I, стр. 119. Текст дается по автографу ЛБ.

III. *Монолог Фауста.* Стр. 126.

Отрывок из сцены 14 «Лес и пещера» (Wald und Hohle) — стихи 2861—2894 по немецкому подлиннику. Впервые напечатано в журнале «Московский вестник», 1827, № 1, стр. 11—12, по которому и дается текст. Автограф ЛБ имеет варианты, частично использованные при напечатании в Соч. 1829.

ПРОЗА

13 август. Стр. 131.

Впервые напечатано в Собр. соч. 1934, стр. 198—202, по автографу ГИМ. Текст дается по этому изданию.

13 августа — день рождения сестры поэта Софьи, которой 17 лет исполнилось в 1825 году, что и определяет дату.

Tous les contes ne sont pas des fables — сказки — не басни *(франц.)*.

Il dolce far niente — приятное ничегонеделание, безделье *(итал.)*.

Утро, полдень, вечер и ночь. Стр. 135.

Впервые напечатано в альманахе «Урания на 1826 г.», изд. Погодиным, стр. 74—81. Текст дается по этому изданию.

Скульптура, живопись и музыка. Стр. 139.

Впервые напечатано в альманахе «Северная лира на 1827 г.», изд. Раичем и Ознобишиным (Р. Ц. 1 октября 1826 г.), по которому и дается текст, в библиографии журнала имеет подзаголовок «Три истины».

Владимир Паренский (Главы из романа). Стр. 142.

Отрывок, представляющий собой введение, был впервые опубликован в альманахе «Северные цветы на 1829 г.», стр. 231—234, под датой (1826), за подписью Д. Веневитинова и под заглавием «Отрывки из неконченного романа».

О плане «затеянного» романа Веневитинов говорил в письме к брату от 14 февраля 1827 года: «Авось окончу в скором времени большое сочинение, которое решит: должен ли я следовать влечению к поэзии, или побороть в себе эту страсть». «Большое сочинение» — роман «Владимир Паренский», о плане которого в посмертном собрании сочинений было сказано следующее: «Роман сей был главным предметом мыслей Д. Веневитинова в последние месяцы его кратковременной жизни».

Отрывки, за исключением первого, публикуются впервые, по списку ЛБ, сделанному рукою Рожалина.

Сцены из Эгмонта (Гёте) [*Действие первое*]. *Дворец правительницы.* Стр. 150.

Трагедия Гёте «Эгмонт» (1787) рисует борьбу нидерландского народа против поработителей. Герой трагедии Эгмонт, принц Гаврский (1522—1568), вождь нидерландской революции, казнен герцогом Альба в 1568 году.

Веневитинов перевел две сцены первого действия («Дворец правительницы» и «Мещанский дом») и второе действие («Площадь в Брюсселе»). Впервые обе сцены первого действия напечатаны в Соч. 1831, ч. II, стр. 95—120, за исключением «Солдатской песенки» из второй сцены, напечатанной в альманахе «Денница», 1830, изд. М. Максимовичем, стр. 64—65, под названием «Песнь Клары»; Из трагедии Гёте «Егмонд», за подписью Дм. Веневитинова.

Из неопубликованного письма Н. Селивановского к брату поэта от 20 сентября 1829 года (ЛБ) видно, что для посмертного собрания сцены из «Эгмонта» (первого действия) были в это время уже разрешены цензурой. При подготовке же второго издания сочинений Веневитинова трагедия Гёте, согласно предложению министра просвещения от 12 декабря 1832 года, была вновь запрещена к печати. Однако 13 мая 1855 года Главное управление цензуры разрешило издание сочинений, «не делая никаких изменений против печатного экземпляра оных», и, таким образом, первое действие трагедии было напечатано

вторично (Собр. соч. 1855, стр. 201). Текст дается по списку ЛБ, сделанному рукою Рожалина. Три последние строки на стр. 151, выпущенные цензурой, публикуются впервые.

Действие второе. Площадь в Брюсселе. Стр. 162.

Публикуется впервые по автографу ЛБ.

Разносчик Зуст именуется Веневитиновым Соестом (Soest).

Что пена в стакане, то сны в голове. Стр. 169.

Впервые напечатано в Собр. соч. 1934, стр. 176—183 (как сочинение Д. Веневитинова). Ранее — «Московский вестник», 1827, ч. V, стр. 244—301, за подписью «В» (как перевод Дмитрия и Алексея Веневитиновых), под заглавием: «Что пена в вине, то сны в голове. Повесть из Гофмана». Автограф: ГПБ, Сборник автографов из Погодинского древлехранилища, № 3, по которому и дается текст.

В письме С. П. Шевыреву от 28 января 1827 года Д. Веневитинов писал: «Возьмите у Рожалина мой перевод из Гофмана и докончите его. Повесть славная, лучше всех у нас русских напечатанных». В оригинале повесть Гофмана (Эрнст-Теодор-Амадей, 1776—1822) называется: «Магнетизер». Семейная хроника. 1819. (Träume sind Schäume.)

«Ученики в Саисе». Стр. 171 — намек на произведение Новалиса (1772—1801), где он развивает теорию «магического идеализма», по которой поэт-маг способен претворять идеи в действительность и наоборот.

СТАТЬИ

Анаксагор. Беседа Платона. Стр. 179.

Впервые напечатано в альманахе «Денница», 1830, изд. М. Максимовичем, стр. 100—109, за подписью «Сочинение покойного Д. В. Веневитинова». Текст дается по этому изданию. Список ЛБ имеет пометки карандашом: «Переменить оборот», «Развить в неск. местах», «Представить картину золотого века, как необходимое следствие».

Разбор статьи о «Евгении Онегине». Стр. 183.

Впервые напечатано в журнале «Сын отечества», 1825, ч. 100. № 8, за подписью «—въ». Текст дается по этому изданию. Автограф ЛБ имеет приписку, представляющую черновик письма Н. И. Гречу (редактору «Сына отечества»):

«Мил. Гос. Ник[олай] Иван[ович]! Честь имею препроводить к Вам критику мою на разбор «Онегина». (Полевым. — *Б. С.*) Если вы удостоите оную вашего одобрения, поместив ее в «Сыне отеч[ества]», то почту за удовольствие сообщить вам несколько замечаний о влиянии философии на поэзию. *В.*».

При печатании статьи были выпущены следующие места, имеющиеся в подлиннике:

Абзац 1. После слов: «стоя с ним на одной точке» — следовало: «и окруженный с одной стороны карикатурами охриплых критиков, с другой ослепительной толпою людей, бьющих без ума в ладоши? В благородной досаде на своих Панегириков, столь не скромных в похвалах, не повторил бы он про себя слова Поэта к Книгопродавцу:

Что слава? Шепот ли чтеца?
Гоненье ль низкого невежды?
Иль восхищение глупца?»

Абзац 2. После слов: «если он, может быть в душе, сознается, что при разборе «Онегина» — и далее до конца абзаца следовало: «то заранее предложу ему в утешение стихи из самого Пушкина, которым он так восхищен:

Наш век торгаш: в сей век железный
Без денег и свободы нет».

Абзац 3. После слов: «которые незадолго перед сим» — следовало: «клялись на алтаре Фемиды всегда быть поборниками бесстрастья. Незавидное торжество!»

Абзац 15. После слов: «никто бы не написал и поэм Пушкина» — следовало: «но это не доказывает, что он подвинул век, а только то, что он от него не отстал».

Абзац 27. После слов: «которых все мы не чужды были некогда» — «Я не знаю — был ли когда-нибудь г. Полевой франтом, лондонским dandy, запитым посетителем Талона; но зачем ручаться за других? Впрочем, если б мы и все были осуждены пройти через эту школу, что же тут народного, кроме имен?»

Письмо Гречу и все разночтения публикуются впервые.

На эту статью последовал ответ Полевого в «Московском телеграфе», 1825, № XV (см. Собр. соч. 1934, стр. 477—483).

Батте (Batteux) Шарль (1713—1780) — французский теоретик литературы и критик.

Поп (Pope) (1688—1744) — английский поэт, автор героико-комической поэмы «Похищение локона» (1714).

Дмитриев И. И. (1760—1837) — поэт, баснописец, автор эпитафии на смерть Веневитинова.

Разбор рассуждения г. Мерзлякова. Стр. 190.

Впервые напечатано в журнале «Сын отечества», 1825, № XII, стр. 101, с цензурными искажениями. Фраза: «Как? Поэзия, получившая свое существование от случая, должна, сверх того, влачить оковы рабства от самой колыбели?» — была выпущена. Слово «свобода» было заменено на «независимость». Текст дается по списку ЛБ, на котором имеется приписка, обращенная к Н. И. Гречу: «Извините, что посылаю Вам такой мараный список, но это было переписано на скорую руку и весьма неискусным писцом, как Вы видеть можете». (Публикуется впервые.)

Рапсодии Гомера — эпизоды из «Илиады» и «Одиссеи», исполнявшиеся «рапсодами» — народными певцами.

Шапелен Жан (1595—1674) — французский поэт.

Эсхил (525—456 гг. до н. э.) — древнегреческий драматург.

Шлегель Август-Вильгельм (1767—1845) — немецкий философ и поэт.

Эврипид (480—406 гг. до н. э.) — древнегреческий драматург, автор трагедии «Алкеста».

Пизистратиды — сыновья правителя Афин Пизистрата (605—527 гг. до н. э.).

Софокл (495—406 гг. до н. э.) — древнегреческий драматург, автор трагедий «Антигона», «Эдип-царь», «Эдип в Колоне» и др.

Гномы *(греч.)* — краткие, мудрые изречения.

Sed Amicus Plato, magis amica veritas *(лат.)* — Платон мне друг, но истина еще больший друг.

Extrema coeunt *(лат.)* — крайности сходятся.

Ответ г. Полевому. Стр. 199.

Впервые напечатано в журнале «Сын отечества», 1825, ч. 104, № XXIV (прибавление), по которому и дается текст.

В письме А. И. Кошелеву Веневитинов писал: «Взгляните на «Телеграф» и имейте терпение прочесть длинную, мне посвященную статью; смотрите, с какою подлостью автор во мне предполагает зависть к известности Пушкина, и судите сами, мог ли я оставить без ответа такое обвинение, тогда как все клянется Пушкиным и когда многие знают, что я писал статью на «Онегина» . . . В один день вылилась статья — увы! — предлинная и, кажется, убийственная для Полевого, но прежде, нежели ее отправить в Питер, я поклялся вперед ничего не печатать в этом ничтожном журнале и выбрать другую сферу действия. Статья Полевого произвела в нескольких приятелях негодование. В доказательство Рожалин послал в «В[естник] Е[вропы]» славное письмо к редактору, в котором он защищает мои мнения и обличает самозванца литератора; письмо дельное, которого никак не сто́ит Полевой и в котором сочинитель умел скрыть всякое личное участие . . . Много пролитых чернил! Судите сами о моем маранье и о письме Рожалина — я их сегодня отправлю в ваш дом» (Собр. соч. 1934, стр. 306).

«Ничтожный журнал» — «Сын отечества».

Письмо Рожалина — в «Вестнике Европы», 1825, № 14, «Нечто о споре по поводу «Евг. Онегина» — в защиту Веневитинова и против Полевого.

Тредьяковский В. К. (1703—1769) — стихотворец, переводчик и теоретик литературы.

«Тристрам Шенди» — роман английского писателя Лоренса Стерна (1713—1768).

Ансильон (1767—1837) — профессор истории.

Делиль Жак (1738—1813) — французский поэт, классик, автор поэмы «Сады».

Bona fide *(лат.)* — добросовестно, искренно.

«Луиза, сельское стихотворение в трех идиллиях» И. Г. Фосса (1751—1826) — перевод с немецкого Н. Теряева, 1817.

О состоянии просвещения в России. Стр. 209.

Впервые напечатано в Соч. 1831, ч. II, стр. 24—32, под заглавием «Несколько мыслей в план журнала». Печатается по автографу ЛБ, имеющему заглавие «О состоянии просвещения в России». Заглавие для того времени было смелым, так как ассоциировалось со «свободным образом мыслей». Так, при рассмотрении разработанной Пушкиным в 1826 году «Записки о

народном воспитании», подразумевающем просвещение юношества, Николай I заметил, «что просвещение, служащее основанием совершенству, есть правило, опасное для общественного спокойствия» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч. 1949, т. VII, стр. 664).

Слова в третьем абзаце: «которые вопрошающий должен таить про себя или разделить с немногими»—были выпущены цензурой. В четвертом абзаце, после слов: «совершенное отсутствие всякой свободы и истинной деятельности» — также выпущены были строки: «Как пробудить ее (Россию. — *Б. С.)* от пагубного сна? Как разжечь среди этой пустыни светильник разыскания?»

Об «Абидосской невесте». Стр. 214.

Впервые напечатано в журнале «Голос минувшего», 1914, № 1, стр. 265, с неправильной датой. Текст дается по автографу ЛБ. «Абидосская невеста» — поэма Байрона.

Статья Веневитинова является рецензией на перевод И. Козлова, вышедший в 1826 году. Послана в письме к М. П. Погодину 12 декабря 1826 года: «Посылаю тебе несколько мыслей об «Абидосской невесте».

Об «Евгении Онегине». Стр. 216.

Впервые напечатано в журнале «Московский вестник», 1828, ч. VII, № 4, стр. 468—469. Текст дается по автографу ЛБ (архив Погодина).

Вторая глава «Евгения Онегина» вышла в свет 20 октября 1826 года. Статья Веневитинова написана в декабре, как это видно из письма к М. П. Погодину от 14 декабря 1826 года: «Вот вам несколько строк об «Онегине», сшитых кое-как, на живую нитку. Меняйте, марайте как хотите; но ради бога не пишите большого разбора книги, уже давно вышедшей в свет, тем более что лишние похвалы Пушкину в нашем журнале могут показаться лестью» (Собр. соч. 1934, стр. 318).

Разбор отрывка из трагедии г. Пушкина. Стр. 218.

Впервые напечатано в Соч. 1831, ч. II, стр. 73—78 (на французском языке). Автограф ЛБ содержит русские тексты стихов с переводом на французский. Здесь помещается русский перевод статьи (Собр. соч. 1862, стр. 191—195).

Написано в 1827 году на французском языке для «Journal de St. Petersbourg», под заглавием «Analyse d'une scène detachée de la tragedie de Mr. Pouchkin».

О математической философии. Стр. 222.

Впервые напечатано в Собр. соч. 1934, стр. 258—262. Печатается по этому изданию. Статья является переводом сочинения немецкого философа Иоганна Якова Вагнера (1775—1834). В письме А. И. Кошелеву Веневитинов сообщал: «Перевел я ученый спор между Вагнером и Блише... Я осмелился прибавить свое замечание к статье Вагнера и прошу вас сделать то же. Так как статья его довольно велика, то я решился довольствоваться одной выпиской». Веневитинов добавил к переводу лишь свои замечания в начале и в конце статьи, а также большое подстрочное примечание.

Письма к графине NN (Княжне А. И. Трубецкой). Стр. 226.

В результате знакомства с сочинениями Ф. Шеллинга, в том числе с работой «О возможности формы философии вообще» (1794), Д. Веневитинов предполагал в ряде писем к графине NN «представить, как все науки сводятся на философию и из нее обратно выводятся». Им было написано только два письма.

Письмо первое.

Напечатано впервые в Соч., 1831, ч. II, стр. 5. Текст дается по автографу ЛБ с примечанием Веневитинова, публикуемым впервые. Повидимому, об этом письме идет речь в записке к М. П. Погодину от 17 июня 1826 года: «Письмо так спешил окончить, что не успел отделать, как бы мне хотелось; но, впрочем, дело не ушло, и я переделаю его, когда вы мне его возвратите, тогда я буду просить вас быть моею почтою и доставить его по адресу прекрасной графине» (ЛБ, архив Погодина).

Элевзинские таинства — древнегреческие мистерии в Элевзине, близ Афин.

В последнем письме своем ко мне (стр. 229). Эти письма неизвестны.

[*Письмо о философии*] (Письмо второе). Стр. 232.

Впервые напечатано в журнале «Голос минувшего», 1914.

№ 1. Текст дается по автографу ЛБ. Письмо отражает важнейшие положения Ф. Шеллинга, изложенные в «Системе трансцендентального идеализма» (1800), и интересно своей постановкой вопроса о главной проблеме философии — отношении сознания к бытию. Веневитинов правильно считал, что перед философией стоит основной вопрос — какой из факторов знания является первоначальным: природа или ум? Однако решение этого вопроса он ошибочно искал в соединении материализма с идеализмом, не видя их полной противоположности

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭМЫ И ДРАМЫ

ПРОЗА

СТАТЬИ

Веневитинов
Дмитрий Владимирович
ИЗБРАННОЕ

Редактор Ю. Акимов

Художник И. Николаевцев

Художеств. редактор К. Буров

Технический редактор В. Гриненко

Корректоры Г. Фальк
и М. Фридкина

*

Сдано в набор 3/IX 1955 г. Подписано к печати 2/IV 1956 г. А04235. Бумага 84×108 1/32 — 16,25 печ. л. = 13,33 усл. печ. л. 11,066 + 4 вклейки = 11,266 л. Тираж 50 000. Цена 5 р. 50 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Типография «Пунане Тяхт»,
Таллин, ул. Пикк, 54/58. Зак. № 1669.

ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
147	16 св.	голос.	голос: «Où êtes vous, messieurs?» [1]
„	1 сн.	[1] Где вы: «Où etes vous, messieurs?» [1] господа? *(франц.)*	[1] Где вы, господа? *(франц.)*
246	**6** св.	dedi'el	dediée
250	2 св.	Три последние строки на стр. 151,	На стр. 151: О, мы, повелители! и две первые строки на стр. 152,

Д. В. Веневитинов — Избранное